

Эдуард Кузнецов

ДНЕВНИКИ



Эдуард Кузнецов
ДНЕВНИКИ

Эдуард Кузнецов

ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ

ДНЕВНИКИ

LES ÉDITEURS RÉUNIS

11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève
Paris 5e



ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ

во время первого пребывания в трудовом лагере
в 1967

ПРЕДИСЛОВИЕ

Прав Эдуард Кузнецов : « Прогнило что-то в королевстве датском ». Прав, хотя бы потому, что книга его здесь. В « Тамиздате ». Самый существенный и перспективный симптом дряхления режима (по Амальрику) — все большая халтурность в « работе » карательного аппарата.

Давно уже поток рукописей из « большой зоны » никого не удивляет. А теперь прямо из лагерей и тюрем пошло : стихи Даниэля, А. Родыгина, ленты с голосом Гинсбурга... Плоховато оказалось с бдительностью у « кума » 10-го лагпункта, выходят в свет тюремно-лагерные записи Эдика Кузнецова. Вот краткая справка об авторе. Отец еврей, погиб на фронте. Сам поступил в Московский Университет. Вместе с В. Осиповым (с тем, который теперь издает « Вече », разошлись пути) ходил на площадь Маяковского в 1961-62 годах. Засадили и получил в Мосгорсуде 7 лет. « Не исправлялся », за что был послан в особый лагерь, потом во Владимир.

Вышел осенью 68-го, год административного надзора в Струнине, Владимирской области. Переезд в Ригу, женитьба на Сильве Зальмансон. 15-го июня арест на аэродроме «Смольный» под Ленинградом... Остальное сказано в книге. Для «объективации» этих записей, естественно отрывочных, следует прочесть материалы Ленинградского самолетного процесса.

Хватило силы духа на то, чтобы в Большом Доме, даже в смертной камере, думать, осмысливать. Хватило лагерного опыта записывать, протаскивать через шмоны, хранить в среде, насыщенной стукачами, и всю эту невероятную эквилибристику увенчать выходом записок за зону. Появление же книги — почти верная путевка во Владимир. В марченковскую тюрьму, в которой он сам тянул последний год своего первого срока. Год поразивший его так глубоко, что даже сегодня, пройдя духовный опыт наверное еще страшней, он не может удержаться от воспоминаний. Ради того, чтобы эти записки были прочтены в Союзе, услышаны по радио, чтобы в иностранных переводах им ужаснулись чересчур доверчивые «сосуществователи», Кузнецов внутренне готов на владимирский этап.

В этом есть аналогия с самим самолетным делом. Тогда, на месте, его друзьям это отчаянное предприятие показалось самоубий-

ственным рывком в огневую зону, лишь бы не терпеть. Что-то подобное самокалечению пересидевших эзков. Оказывается — сознательная жертва, принесенная с почти холодным расчетом: « Эта страна не знает реформ не на крови »... Как тут не сказать, что Эдик носил в бумажнике фотографию Яна Палаха. И вышло историческое ленинградское дело. Историческое потому, что впервые за историю советской власти произошло прямое вмешательство западных правительств (а не только общественности) и отступление режима, отмена расстрела. Извне эти события виделись куда яснее, чем самому Эдику « изнутри » — расстрел был не для « напугу », а твердо предрешен. Неделя в смертной камере, возвращение на « спец » на 15 лет, а тем временем, по логике поражения, власти пришлось отпустить из Союза около 50 тысяч человек. Евреев и не евреев. Нескольких близких лагерных друзей, массы других, ничего о деле по сути часто не знавших, еще полных страха, думавших даже, что « самолетчики » своим дерзким поступком задержали их выезд.

У многих из нас, обязанных Кузнецову свободой, еще велик этот страх. Он рискует Владимиром, а мы здесь не решаемся подписать предисловие к его книге. Но кому это не понять, как самому Эдику. Он ведь не предложил « билета » на проклятый само-

лет никому имевшему хоть малейший шанс на «законный» выезд. Он очень тщательно в своих записях обходит любое имя, любой факт, могущие скомпрометировать.

О самих записках здесь слишком трудно. Мыслями, фактами, иногда противоречивыми, записи эти перенасыщены: о себе, о стране, о ее прошлом, о евреях, о борьбе с собой, о невозможности жить с неправдой. Напрашивается сравнение с тюремными записями другого русского молодого интеллигента, эмигранта Бориса Вильде «сопротивленца», расстрелянного нацистами в Париже, в 1941 году (к всеобщему удивлению, несколько лет назад, они были опубликованы в московских журналах). У обоих — этически-религиозные раздумья, желание объяснить себе и другим внутреннюю неизбежность поведения, идущего вразрез со «здравым смыслом».

Мысли и оценки Эдика понравятся не всем. Кое-кого покоробят безнадежные, а потому и несправедливые высказывания о России: они вызваны жгучей, невыносимой болью. Кое-кого удручат суровые записи Кузнецова о соллагерниках, но не следует забывать, что в особом лагере большинство бывших уголовников, по шкурным соображениям превратившихся в политических. «Я в правоте ужасной одинок» вторит Кузнецов вслед за поэтом Родыгиным, отбыва-



ЭДУАРД КУЗНЕЦОВ

ющим восьмилетний срок во Владимире за попытку бежать из страны.

Опасаясь реакции зубров всех мастей, и «белых» и сионистских. Но присмотритесь к составу пассажиров злосчастного самолета, к их судьбе, а главное к самому подходу Эдика к своим двум родинам, и вы почувствуете, что если до сих пор и существует еще «еврейский вопрос», то ответ на него может быть только христианский.

Однажды я обедал с Эдиком в Риге. О самолете и мысли еще не было. Были работа санитаром в больнице, составление англо-русского медицинского словаря, ночное слушание радио-свобода, нелегкое доставание и запойное чтение русской философии, опубликованной тем самым издательством, в котором сегодня выходят Дневники. Разговор за этим обедом, после неизбежного обсуждения проклятых вопросов (прописка, отдел кадров, ОВИР) перешел к теме выезда, эмиграции. Вопросу, мучившему почти всех нас с долагерных, с лагерных времен. Я сказал: «Без России трудно будет!» Эдик ответил: «Неужели ты думаешь «там» живут люди Россию меньше любящие, но не возвращающиеся, не хотят здешнего терпеть».

Даст Бог, и Кузнецов, и те, что сели с ним, доживут до той тяжелой свободы, которую они подарили другим.

« 1970 »

27. 10. 70. Следствие окончено, дело подписано, и наконец-то я законный обладатель карандаша и бумаги. Не то, чтобы у меня их не было и до разрешения, но запретный плод хоть и сладок да проку от него мало: надзиратели обнюхивают каждый клочок бумажки, выискивая следы карандаша. Нельзя сказать, что меня томит обилие мыслей и образов, однако глубокомысленно посидеть над тетрадкой, покурить вволю и записать какой-нибудь пустячок — удовольствие немалое. Любопытно, что даже в этой полудюжине строк я пару слов зачеркнул (причем так, чтобы их нельзя было прочитать), а одно вписал. Суетная ориентация на чужой глаз что ли? Попробуй-ка, от нее избавься. Вероятно, всякое движение человека в той или иной мере жест при одном лишь подозрении наблюдения или даже возможности такового.

Камеры здесь на двоих — двойники, как их зовут. На второй день после ареста ко

мне посадили Лянченко А.И., мужчину в годах и всячески больного. Сотрудничал с немцами во время войны, отсидел за это червонец, в 55 г. освобожден. Потом приговор был опротестован и — через 14 лет — его снова арестовали. Он уверен, что его приговорят к расстрелу. Просидели мы с ним довольно мирно 1,5 месяца, потом нас разбросали по разным камерам, и оказался я вместе с Козловым Юрием, парнем всего лишь на 2 года старше меня. Он сидел в Коми АССР — то ли его сюда за новым сроком привезли, то ли еще зачем, не знаю: он скрытничал, а я не считал удобным особо любопытствовать — не такое место, чтобы душу открывать. С этим я тоже ужился — безалаберно и шумно, — но через месяц стал заметно тяготиться его экспансивностью и в общем-то был не против поменять его душевность на заскорузлую мизантропию какого-нибудь молчуна.

Со 2-го сентября я сижу вместе с Салтыковым Владимиром Павловичем, художником, осужденным на 4 года за хулиганство — потом его перевели из «Крестов» в «Большой дом» в качестве свидетеля по делу о перепродаже золота. Художник он, как выяснилось, никакой — плакаты малевал. В свои 50 с лишним подчеркнуто бодр, неистошимо похабен и по-провинциальному остроумен. На начальство реагирует болез-

ненно : трясение членов, заикание и бледность лысого чела. Мне без особых усилий удалось внушить ему, что молчание — лучший способ общения при вынужденном сожителстве. И если не считать мерного скрипа сапог, когда он бродит по камере, привычки высвистывать свои мысли при помощи опереточных мотивчиков, да жирного храпа по ночам, он очень сносный сокамерник. То ли бывает !

28. 10. Недели за 2 до выполнения ст. 201 (УПК РСФСР) я письменно отказался от защитника, зная, — и не только по личному опыту — сколь беспомощна, неуклюжа и робка защита в политических процессах. Кроме того, раз мне не дадут сказать всего — в чем я не сомневаюсь, — лучше вообще ничего не говорить. Во время следствия я успел поупражняться в логизировании... Ну и что ? И следователь, и прокурор, то и дело, казалось бы, загоняемые мною в логические тупики, чувствовали себя в них преугодно. Они узурпировали власть над людскими судьбами и именно потому мнят себя обладателями абсолютной истины. Беда еще и в том, что эта истина у них не в голове, а где-то в чреве что ли — так что приглашение к мало-мальски отвлеченному рассуждению вечно попадает не по адресу.

Суд, полагаю, будет очередной гримасой

законоподобно оформленного «социалистического правосознания». Виноватым перед Советским Союзом я себя не считаю — очень даже напротив — и потому не хотелось бы вступать в имеющую произойти в зале суда игру по ими составленным правилам. И в первую очередь потому, что мне уже не 20 лет, чтобы гореть желанием переделать мир — с величайшим удовольствием расплевался бы со всей этой византийщиной, будь у меня возможность. Хоть бы Юрьев день какой ввели — для припекаемых эмигрантскими вожделениями.

В общем, заявил я о своем решении обойтись без защитника, а он тут как тут — приземистый иудей лет под 40, круглый и шустрый, Лурьи Юрий Иосифович. Я было ни в какую, но оказалось, что он не назначен, как водится, судом, а нанят моими друзьями, которые, как он мне пояснил, могут обидеться, откажись я от его услуг. Это первая весточка с воли... и я сдался. Шутка ли — не растерять друзей, оказавшись в руках КГБ. Хотя, вообще говоря, только окололагерные дружбы из числа настоящих... Впрочем, об этом как-нибудь потом, а то меня все в сторону заносит. Лурьи — дядька неглупый. Мы с ним немножко попикировались, покичились каждый своим остроумием, литературными симпатиями и пришли к согласию, что дело, в

общем-то, швах, из кожи ему лезть нет смысла — так и так 15, — а потому не суть важно, если я не признаю себя виновным по всем пунктам обвинения и буду настаивать на переквалификации статей, а он признает квалификацию верной и будет бить лишь на смягчение наказания, уповая на чудо — на 14 лет. Так или иначе я доволен: Лурьи мне живая весть с воли, теплое существо среди угрюмой казенщины инквизиторских физиономий. Впрочем, «инквизиторских» здесь не к месту — нет основного качества: одухотворенной изошренности сыскных трудов.

В чем-то Лурьи очень типичен... Слишком резко ветры диаспоры, чтобы еврей мог остаться прямым. Это немногим удается. А у ищущих преуспевания, у возлюбивших жир фараоновых горшков основные свойства — вынужденная уживчивость, бодрое лицемерие под маской энтузиазма, даже при самом искреннем увлечении каким-нибудь делом — горчичное зерно отстраненности, ирония и скепсис наблюдающего со стороны ума, как бы знающего про себя, что он делает *чужое* дело.

29. 10. Суд, очевидно, будет месяца через 1,5. Во всяком случае до Нового года. Что мне меньше 15 не дадут — никаких сомнений. В лагере я знал добрую дюжину

парней, получивших по 15 лет за « измену родине » далеко не при столь отягчающих обстоятельствах, как у нас. Ну а червонец-то и вообще черт знает за что дают. Помню, был такой Костя Царев, красивый малый лет 20 с небольшим. Я с ним потом еще во Владимирской тюрьме в одной камере сидел, мне тогда уже месяца 3 до освобождения оставалось, а его — и еще четырех — привезли из Мордовии с новыми сроками за дебош в изоляторе (добавили кому по 2, кому по 3 года, и они были ужасно довольны, что так дешево отделались). Этот самый Костя служил в ГДР. Раз, уйдя в самоволку, напил-до потери сознания и проспал в какой-то канаве до утра. Очнувшись, ужаснулся мысли, что теперь он дезертир. Деревенский парень — каких по преимуществу и берут в оккупационные войска, — имеющий весьма туманные представления о законе, до тех пор удачливо совмещавший мелкие погрешности против дисциплины со званием « отличника боевой и политической подготовки », он пуще смерти боялся публичного позора всяческих дисциплинарных взысканий. Как озарение, приходит мысль о единственном выходе — переходе границы. По его признанию, он никогда до того и не думал о Западе и если и противопоставлял его Востоку, то только в духе газетных передовиц и красноречия замполита. Но время от вре-

мени им перед строем зачитывали очередной приговор какому-нибудь « дезертиру, изменнику родины », заочно приговоренному к смерти (известно, что всякий удачливый перебежчик заочно приговаривается к расстрелу) и только в связи с этим где-то в нем угнездилась мысль о самой возможности — в принципе — бежать на Запад. Именно она и сработала в тот момент. Сейчас я уже не помню всех перипетий его конкретных усилий, нацеленных на переход границы, но, кажется, его на другой же день где-то на вокзале задержала гэдээровская полиция и передала в руки советского трибунала. Следователь отечески сочувствовал ему и терпеливо внимал наивной путанице страхов, толкнувших его на столь страшное преступление. Ну а окажись ты в ФРГ, спросил он Костю, ведь тебя бы сразу в ихнюю контрразведку потащили, ты это знаешь. Ну, конечно, согласился тот. А ведь ты, продолжал следователь, даже свою солдатскую книжку не уничтожил — не сжег, не разорвал... Значит, они бы узнали номер твоей части. Это так, печально согласился Царев. А скажи честно, по-русски: стал бы ты скрывать имена своих командиров, устройство своего оружия — автомата там или еще чего, — не рассказал бы ты вообще о жизни гарнизона. Они ведь умеют заставить человека говорить... Костя вынужден был согла-

ситься, что, наверное, рассказал бы обо всем этом. Следователь очень огорчился такой его беспринципной покладистости и на тревожное вопрошание Царева, что ему будет, сказал, что до дисциплинарного батальона дело, может и не дойдет, но 15-ти суток гауптвахты, выговора перед строем и отправки в другую часть — уже в России — ему не миновать. Тому, что его отправят в другую часть, Костя был только рад: меня, говорил он, командир застыдит — пятно на коллективе, переходящее красное знамя и т. д... Военный трибунал дал ему 10 лет за попытку изменить родине путем бегства в ФРГ, где он намеревался передать вражеской разведке военные секреты.

30. 10. Нас перевели из 247 в 242 камеру — под нами « ленинская » камера — 193, в которой он когда-то сидел. Ныне она пустует в качестве реликвии, не подлежащей осквернению. Если взглянуть из прогулочного двора на стену нашего корпуса, пятое окошко справа на пятом этаже сразу бросается в глаза: нарушая впечатление угрюмой правильности ржавых квадратов « намордников » на каждом окне, одно оно сияет чисто вымытыми стеклами. Редкая решетка, стекла вместо пластмассы и отсутствие « намордника », из-за которого в камере даже в солнечный день сумрачно, это кое-что для

заклученного. На заре революции — или, как говорил один мой знакомый, разволюции — бодро распевали: «Церкви и тюрьмы разрушим...» Насчет первого преуспели достаточно, а с тюрьмами некоторая заминка произошла. Вполне простительная — не только в связи с намерением сохранить все лучшее, выработанное феодально-буржуазной культурой, но и в связи с усилением классовой борьбы по мере все больших успехов социалистического общества. Разумеется, когда бы не столь удобная во многих смыслах — и в первую очередь в экономическом — система концлагерей, пришлось бы понастроить уйму новых тюрем, а так перебиваются в основном старыми, лишь изредка раскошелливаясь на новостройки. Бывает, что очередное заявление о значительном сокращении преступности, понуждает власти к таким поспешным шагам, как, например, снесение ленинградской женской тюрьмы — решили, что «Крестов» хватит для преступников обоого пола. Оно, конечно, и хватило, — только в таких точно камерах, как наша, уголовники сидят всемером-восьмером. Так что мы вдвоем на своих 12 квадратных метрах вроде как владельцы частной дачи. «Экстерьер» тюрем более всего, насколько мне дано судить, изменился за счет «намордников», да кое-где — как, например, во Владимире — свежая кирпичная кладка

подсказывает, что старорежимные окна были раза в 4 попросторнее. Однако, 4 корпуса Большого Дома пустуют. Резерв что ли. Мы занимаем только 5 и 6 этажи одного из корпусов — человек нас 50 от силы. Да и то половина, наверное, — валютчики, взяточники (крупные) да контрабандисты. С 60-го, если не ошибаюсь, года КГБ взял на себя эту дополнительную нагрузку, и хотя все эти «экономические диверсанты» отбывают сроки в обычных лагерях, следствие им ведет КГБ, чему они весьма не рады.

Общий дух Большого Дома почти не отличается от такового Лубянки и Лефортовской тюрьмы. Теперь, когда я опять вжился в тюремные будни, иной раз в просоночном состоянии временные пласты смещаются, и я путаю 1970 г. с 1961-м. Кстати, словно иллюстрируя поверхностность традиционно противопоставления москвичей и ленинградцев (душевность — сухость, безалаберность — педантизм и т. п.), здесь тюремные обряды не блюдутся столь строго, как на Лубянке и в Лефортове. Тут не шипят с зловещей значительностью: «На К — приготовьтесь», а лихо хлопают кормушкой и громко вычитывая по бумажке фамилию, сообщают, куда именно тебя поведут. Конвоируя тебя, надзиратели во избежание нечаянной встречи с другим арестантом не

только пощелкивают пальцами, как это заведено в Москве, но и гремят ключами, свистят, а то и вовсе кричат что-нибудь вроде: «Осторожно — веду!» Хотя, возможно, сами ленинградцы неповинны в таком наплевательском отношении к инструкциям: на моих глазах надзорсостав уже дважды обновлялся во всяком случае наполовину — и все за счет приезжих из самых разных городов. Я слышал, как они называли себя командировочными и стажерами. Интересно, есть ли тут какая-нибудь связь с нашим делом. Более 40 следователей готовили нас к суду — от просто следователей по особо важным государственным делам до начальников следственных отделов КГБ краев, областей и городов, от старших лейтенантов до полковников. Каждые 2-3 недели мне давали на подпись очередной приказ: в связи, де, с особой сложностью дела в следовательскую группу включены такие-то и такие-то лица.

31. 10. Окончательно убедился, что мой сокамерник — «наседка». Он и раньше излишне энергично (по тюремной этике) интересовался некоторыми укромными деталями нашего дела, но я не спешил с выводами, контролируя склонность к подозрительности, почти неизбежную в таких условиях. Сколько я их видел, населяющих доносчиками и

сексотами все пространство вокруг себя, — поиск личной значительности, что-ли? А скольких усыпляют, отравляют, гипнотизируют. Как правило, это пустейшие люди — выверни их наизнанку, не обнаружишь ничего, достойного слежки или гипнотизирования, разве что гипертрофированное тщеславие да пару капель яда. Двинутые, разумеется, не в счет.

Постоянное пребывание нос к носу располагает к некоторой бесцеремонности, а чуть дай волю и к амикошонству. Я всегда стараюсь предельно отдалиться от сокамерника. Не то, чтобы я был не общителен, но иные мгновения мне всякое посягательство на тишину — нож острый. И вот, чтобы уберечь эти возможные редкие мгновения, я заранее пускаюсь на ряд уловок, суть которых сводится к внушению сокамернику примерно следующего: когда этот желчный, гневливый и наглый тип читает, рассказывает по камере с преувеличенно сосредоточенным видом или сидит на койке, прикрыв ладонью глаза, лучше ему не мешать: не заговаривать с ним, не свистеть и т. п., — а то нарвешься на какое-нибудь язвительное замечание или — того хуже — скандал. Дело в том, что в силу ли мизерности мыслительных способностей, суперчувствительности ли ко всяким помехам извне или, может, даже подсознательного настроения на

поиск их в качестве оправданий неумения сосредоточиться, меня отвлекает, раздражает само подозрение, что вот сейчас или чуть позже — вообще в любой момент — кто-то может обратиться ко мне с каким-нибудь вопросом, заговорить, кашлянуть, посмотреть даже. При всем том я вроде бы не неврастеник. Сейчас пришло в голову, что описанное выше состояние, этакая шумовая идиосинкразия сопутствует в первую очередь топтанию вокруг старинных моих тем: как жить — не сегодня и завтра, а вообще. Этические антиномии — мой крест. Что-то вроде сверхценных идей, — попадись я в руки психиатрам с их скучными эталонами здоровой психики.

Я еще лет в 18 всерьез мечтал забраться в какую-нибудь лесную избушку — снег и тишина первозданная и, главное, чтобы вокруг была разлита прочная уверенность, что никто тебя не потревожит и впереди много-много времени, так что спешить некуда... И тогда, мнилось, я решил бы для себя все главные вопросы...

Время, отведенное на прогулку, кончается — закругляюсь. Теперь я не хожу гулять, чтобы хоть час быть одному. Вот как я его разоблачил. Решил вздремнуть перед обедом и уже совсем было заснул, как он тихонько окликнул меня. Какая-то странная нотка в его голосе заставила меня насторожиться, я

промолчал и постарался дышать как можно ровнее. Слышу, он поднялся с койки и начал потихоньку извлекать у меня из-под подушки том Карамзина, где у меня эта тетрадь : до сих пор я делал вид, что конспектирую Карамзина и — поскольку дневник мой еще в эмбриональном состоянии — не утруждался прятать тетрадь (надо срочно завести в похожей тетради всяческие конспекты). Я заворочался, вроде бы просыпаясь, он нервно шарахнулся в сторону и, независимо насвистывая какую-то песенку, зашагал по камере. Пора подумать о тайнике. Это целая проблема : камера почти голая, а обыски — каждую неделю. Надо от него как-то избавиться... Впрочем, другого ведь дадут.

2. 11. Существует, грубо говоря, три типа отношения к дневнику в условиях постоянной угрозы, что он окажется в руках тех, в чьей недоброй и полной власти ты находишься. Первый : работать под раскаяние, осознание своих ошибок и постепенное перерождение в экстатического поклонника « Старшего брата » ¹⁾ (я знаю такие случаи), рассчитывая на легкоеверие чекистов; второй :

1) Образ из Оруэлловского « 1984 » — « The big Brother ».

не писать вообще, чтобы не давать никаких материалов недоброжелателям; третий : если уж пишешь — а причин-то тому много : банальных, наивных, много раз, несколько смущенно или, напротив, вызывающе оговоренных во вступлениях ко всякого рода дневникам, и лишь изредка по-настоящему важных в самом существенном — удовлетворении внутренней потребности, — так вот, если уж пишешь, то не касайся ничего такого, что способно повредить другим. Собой можешь рисковать сколько угодно, разумеется.

3. 11. « Свобода — познанная необходимость ». Свобода — ведь это состояние и неправомерно сводить его только к акту сознания — познанию. Это состояние характеризуется отношением к необходимости, т. е. преодолел ее индивид или нет, преодолевает или подчинился. И эти три последних состояния в качестве одномоментных или растянутых во времени процессов выступают в различного типа связях с познанием, познанностью конкретно предстоящей необходимостью. Ведь можно познать необходимость и быть подчиненным ей. Где же тут свобода ? (Призыв же познать необходимость и « свободно » подчиниться ей ориентирован отнюдь не на этические принципы жизненного выбора) : Ergo, свобода есть преодоленная необходимость или же способность и

возможность преодолеть ее. Или же — более грустно : свобода это возможность сознательно выбирать себе господина с сохранением за собой права уйти от него к другому в любое время. Разумеется, данное дилетантское рассуждение неизбежно зиждется на ряде аксиом, единственно и делающим его приемлемым. К таковым, например, относится неявное допущение, что конкретно предстоящая перед человеком необходимость может быть вполне познана — и при этом умалчивается о кровном родстве ее со всей системой (а в другом смысле — хаосом) необходимостей, в которую погружен человек и которая, собственно говоря, и зовется жизнью.

До сих пор не вставили 2-ю раму, а батарея не горячее, чем задница у трехдневного мертвяка.

Сегодня в часу десятом утра со стороны Литейного — звуки оркестра и топот множества ног. Вдруг из окна какой-то камеры истошный вопль : « Китайцы, мы здесь ! Выручайте ! » — и истерический хохот. Беготня, тревожная суета в коридоре, громкий шепот, потом какая-то возня — очевидно, повлекли бедолагу в карцер.

4. 11. Надо « технически » избавиться от сокамерника. Можно, конечно, просто заявить начальству, чтобы убрали « наседку »

— если такое заявление подкрепить обещанием разmozжить ему голову, они, как правило, не медлят. Но это крайнее средство. Если не помогут другие. Пока воспользуюсь испытанным ходом: найду повод для ссоры и прекращу всякое словесное общение — насадка ничего не может высидеть и ее убирают... чтобы, разумеется, заменить другой. Но другая не всегда под рукой — глядишь, и повезет на сокамерника хоть на какое-то время, раз уж нельзя совсем без него обойтись (по новому закону).

5. 11. Сказано — сделано: не разговариваем. На прогулку по-прежнему не хожу. Сегодня попытался — в который раз! — получить хоть какую-нибудь юридическую литературу. Куда там! Даже конституцию СССР не дают. С книгами вообще очень плохо. Библиотека тут, может, и не плохая, но нет ни каталога, ни библиотекаря — функции его поочередно выполняют работники тюрьмы. Поэтому нередко такие казусы: попросил принести что-нибудь Кони, а мне вручают «Всадники и кони» какого-то Федорова. Я было шуметь, а «библиотекарь» показывает свой блокнот: «Вы же просили что-нибудь о лошадях...» Дают две книги на неделю, мне их от силы на три дня хватает. И никакие протесты не помогают. Едва придя в себя после ареста, я

было попытался изменить положение с чтивом, но довольно скоро уловил, что данная ситуация не случайна, не результат небрежения начальства. Начальник следственного изолятора майор Круглов — черный, носатый мужчина лет 45, разбитной, словно метрдотель второразрядного ресторана, — вызвав меня к себе в кабинет (по поводу моего отказа говорить что-либо на допросах), поделился своими соображениями о заключенных и книгах, подытожив их популярным тюремным присловьем: «Тут вам не Академия наук». Позже я слышал это и от прокурора Пономарева, и от следователей, и от надзирателей. То, что тюрьма — не академия, это точно. За предыдущие 7 лет заключения меня не единожды накрывали волны гонений на литературу. Во Владимирской тюрьме я с полгода добивался разрешения получить учебник английского языка, — наконец разрешили... А при очередном обыске забрали как недозволенный предмет. Естественно, я раскричался... на 10 суток карцера. В 63 г. из лагерных библиотек изъяли иностранных авторов, почти всех — по какому принципу отделяли овец от козлиц, я не понял. Был период, когда в 7-й лагзоне запретили читать «Крокодил», т. к. заключенные «смеются антисоветским смехом» над картинками этого журнала. Книги дореволюционного издания — крамола. Так

у меня погиб Заратустра, полдюжины томов Гегеля и, помню, двухтомник Ибервег-Гейнце. До 69 года хоть книжные бандероли можно было получать, а теперь — шиш. Тюремщики-интеллектуалы поясняют: «Какая еще зарубежная литература? Вам и советских-то книг не следует давать — вы все по-своему переиначиваете!»

6. 11. Когда аполитичность объявляется видом политики, и политики враждебной «гегемону», тогда утверждение Руссо «Каждый бесполезный гражданин — вредный гражданин» становится побудителем чисток не только партийных рядов. Но это лишь во времена молодости государства. Когда круг номенклатурных работников не определился еще достаточно четко. Потом на кумачовых полотнищах с призывами к социально-политической активности обыватель научается вычитывать поучения типа любимой пословицы мафиозо: «Кто глух и нем, к тому же слеп, тот тихо проживет сто лет».

В российском православии среди святых много военных — почитание силы?

«Если Бога нет, то все позволено» — очень справедливо пугает Достоевский, солидаризируясь тут с вольтеровской необходимостью выдумать Бога. Похоже, его не так волнует, есть Бог или Нет, как социаль-

но-нравственные последствия открытия (или иллюзии), что Бог умер. Практически (если на время забыть о неоднозначности едва ли не всякой мысли Достоевского, сколь бы афористично она ни звучала) это утверждение необходимости *любой* доктрины, обуздывающей подсознательное. Но еще и тоска по эзотерии учения — равно системы и развития ее моментов — для тех, кто не боится задавать вопросы себе и миру.

7. 11. Меня воротит и от сильных личностей и от гигантских держав с мессианскими притязаниями. В этом столетии вопрос стоит не столько об уменьшении уже наличествующей суммы зла, сколько о противодействии ее возрастанию. И потенциально и актуально куда опаснее оптимисты — особенно атеистического толка, — нежели скептически-печально вззирающие на мир. Уверенный в единственной истинности своих убеждений, спеша учинить рай (в лучшем случае) на земле еще при своей жизни, станет ли он останавливаться перед рубкой начиненных иными убеждениями голов — ведь они только мешают, загораживают дорогу в рай, а жизнь так коротка! И чем убежденнее мономан, чем он более морально состоятелен, тем ощутимее разит от него чужой кровью.

8. 11. Однажды замечаешь, что, оказыва-

ется, давно уже берешь в руки книгу — даже самую прославленную — без трепета, как в ранней юности, когда верилось, что есть книги, дарующие сразу все истины. Теперь все больше насчет игры акцентов, полутонов, оригинальности прорисовки деталей... Скучно быт взрослым.

9. 11. Все еще молчим. Красота!

Купец — типичный русский человек. Русский талантливый человек — самодур, как правило, деспот, произвольщик, любитель покуражиться и раб одновременно. *** 1) Жизнь так иронически устроена, что только поверженные и раздавленные вопят о справедливости и гуманности. Одно это уже ставит их — справедливость и гуманность — под подозрение. Плоский рационализм и просветительство из обрывков хаоса и абсурда жизни плетут сети доктрин, и если им удаются более или менее эластичные ячейки, это у них зовется диалектикой. Но для сокровенного смысла жизни все возможные ячейки смехотворно велики. Банальная мудрость субъективных ли, партийных ли вожделений и упований, концептуализированное (читай: профанированное) осмысле-

1) Звездочками здесь и далее Эд. Кузнецов обозначил вероятно записи мыслей, попутно возникших, контекстно не связанных с предыдущими.

ние истории, сооружение конструкций, годных — стоит их лишь напичкать (для видимости) специально отобранным «конкретным» материалом — для всех времен и народов (главное, оставить в этих конструкциях пустоты меж стыками — для тактического заполнения их по мере надобности национально-временной спецификой), рассуждения об историческом прогрессе с точки зрения мещанско-партийной мудрости винтика государственной машины... ***Вдруг ввалились два надзирателя, перерыли все, перетрясли, перещупали, хотели забрать мои листки (мелкий почерк — разве не улика?), но я отболтался, уверив их, что это я готовлюсь к выступлению на суде. Потерял нить, точнее охладел... Нет достаточного накала, заклиненной убежденности в ценности и оригинальности своих переживаний и мыслей, единственно дающей силы для фиксации их. Гораздо приятнее и удобнее (благо это не чревато уколами самолюбия) быть потребителем духовных блюд. Впрочем, в дзэн-буддизме творчество и восприятие искусства равноценны, ибо важно умение видеть, воплощение же увиденного считается второстепенным делом. Отсюда, очевидно (а не только из принципиальной неадекватности внутреннего мира человека средствам его объективирования), и незавершенность их произведений искусства, намек — не как

метод, художественная манера, а как естественный результат благоговейного отношения к чему-то сокровенному, хрупкому, культивирование чуткого отношения к линии, необходимой и достаточной, — тут и уважение к « имеющему глаза (да увидит !) », и доверие ему, и — пренебрежение к слепому.

11. 11. Наивная одержимость гениев побуждает их братья за решение кардинальных проблем бытия. Просто же талант трусит или, скорее, почтительно благоговееет перед онтологическими проблемами. Потому « святые государи », что всячески увеличивали военную мощь Руси, а не личной святостью. Русскому самосознанию неизвестна свобода — только воля. В 1113 г. первый погром — в Киеве. « История » Татищева : « Жиды, видя свою беду, собрались в синагоге и долго оборонялись; Владимир, убежденный общемо к ним ненавистью... выслал всех жидов; с того времени не было их в нашем отечестве, и народ обыкновенно убивал тех, которые дерзали приезжать в Россию ». Последнее вряд ли безукоризненно достоверно, однако весьма многозначительное утверждение...***
Вся жизнь прошла в коммунальных квартирах, армейских бараках, лагерях... Сколько же можно жить на тухлой селедке и мечту о личной комнате — чтобы можно было

вешать на дверь замок — считать утопией?! С благодарностью поменял бы 15 лет лагерных бараков на 20 лет одиночной камеры. Лагерь это, по меткому определению Синявского, нечто среднее между коммунальной квартирой, сумасшедшим домом и детским садом. Это о зеке. А есть ведь еще и начальство. Лагерь — задворки советской империи, здесь не стесняются ходить в неглиже и зачастую пренебрегают демагогическими ругьянами.

12. 11. Вызывал майор Круглов по поводу обнаруженного во время обыска дюймового гвоздя. Грозил карцером. Слава Богу, что я еще не осужден, а то одними угрозами не обошлось бы дело. Когда во Владимирской тюрьме у меня нашли обломок безопасного лезвия, я отсидел 15 суток в карцере да еще на 3 месяца был лишен права на закупки в тюремном магазине. А ведь в столярной мастерской, где мы работали, полно железок... В ходе беседы с Кругловым выяснилось, что, будь его воля, он всех бы евреев выгнал из Советского союза, ибо они хитрые и не хотят искренне служить советскому государству. Очень популярная среди государственно-партийных чиновников точка зрения. В лагере придется столкнуться с другим — по форме — утверждением: все в руках евреев, Брежнев — еврей, Косыгин

— тоже и т. д. Заключение вовсе не большие антисемиты, чем вольные, просто барачно-камерные формы жизни провоцируют более откровенную манифестацию утробных антипатий — а в какую форму они облакаются в зависимости от сиюминутных политических убеждений или того, что за эти убеждения выдается, не суть важно. Какой-то устойчивый вид идиотизма, многообразный и безликий равно, смехотворно аргументированный, жалкий в своей глупости и кошмарный пренебрежением ко всякой аргументации... Помню такую историю, предельно типичную. Я имел неосторожность расхвалить «Красную пустыню» Антониони (сценарий в «Иностранке»). Один из сокамерников, монархист и почитатель Конст. Леонтьева, пролистал с десятков страниц и взглянул на меня с подозрением. «Враки. У него это она булку прямо на улице ест? Голодная, что ли? Ведь богатая». Я уже засыпал, когда на вопрос другого: «Стоит ее читать?» — он ответил: «Ерунда. Обычные жидовские штучки». А через пару месяцев, когда я был уже в другой камере, третье лицо передало мне: «Говорят, ты написал какую-то жидовскую пьесу». «Я? И почему жидовскую?». «Ну, да. Про пустыню что ли...» Я пытался уверить его, что я вообще не пишу ничего, что это не я, а Антонионин... — бесполезно. Через какое-

то время у меня, во время обыска забрали все бумаги, а когда возвращали малую часть их (остальные были конфискованы), предупредили, чтобы никаких «сионистских романов» не писал. Еврею в лагере намного тяжелее, чем кому-либо другому. По множеству причин. В частности и потому, что русофилы любых рангов — а процент их среди русских велик — считают своим патриотическим долгом бороться с сионизмом (понимаемым ими в духе «заговора сионских мудрецов») — и даже при помощи доносов.

13. 11. Утром водили к врачу, что показалось мне странным, а после обеда объявили, что 20-го будет суд. Всего через неделю, значит. Что-то больно быстро. Наверное, в понедельник придет адвокат. *** Читаю всяческую белиберду. Очень часто бывает, что наугад заказанных мною книг в библиотеке не оказывается и тогда приносят что попало — преимущественно макулатуру 40-50 годов. Всю эту неделю гримасничаю над «Братьями Ершовыми» Кочетова. Там он еще не идеолог, как ныне, а просто подпевала, хотя и не без робких претензий на самостоятельное варьирование партийных лозунгов, бывает, что и мыслишку какую ни на есть приткнет в более или менее подходящем месте. При скудоумии, претендующем на мышление,

всякая случайно забредшая в голову мысль обсасывается (или, как минимум, упоминается), сколь бы ни была она далека от сюжета или темы: когда их — мыслей — кот наплакал, можно ли пренебрегать и ничтожнейшей? Вручили «обвинилровку» — какой пафос, какие страсти!

14. 11. Пишут, что в США положение трудящихся ухудшилось. Как они там бедные, еще живы? Лет уже 20 на моей памяти жизнь их все ухудшается. Особенно плохо дело с образованием. У нас, слава Богу, бесплатное. Правда, это один из поводов отказывать в эмиграции: государство, де, на вас потратилось, а вы будете теперь отдавать свои знания нашим врагам. Почему бы господину и не давать пожизненному рабу своему бесплатное образование, если тот не имеет возможности от него, господина, удрать? Ведь соки образованного раба слаще, т. е. экономически прибыльнее. У того и другого видов образования свои минусы. Бесплатное образование (во всяком случае в том виде, как оно осуществляется здесь) открывает ворота ВУЗов всякого рода откровенной бездари, знающей, что пятилетнее пребывание в студентах обеспечит ее до конца жизни, как минимум, приличным жалованьем — и без особых хлопот. (Вообще Советский Союз — рай для бездельника,

если его не сдает честолюбие. Где еще можно, ничего не делая, получать зарплату — не большую, конечно, но достаточную, чтобы не подохнуть с голоду?). Атмосфера эта губительна и для середнячка, вырабатывая из него принципиального бездельника и захребетника. Впрочем, последнее зависит не только от вида образования, сколько от социально-политической структуры государства и национальных трудовых традиций. За год работы грузчиком на текстильном комбинате в Струнине у меня сменилось четыре напарника (двое сели за кражи, а один за бандитизм) и трое из них были ежедневно пьяны. Как-то я в погоне за заработком предложил начальнику комбината увеличить мне плату в 1,5 раза при условии, что я буду работать за двоих (мне и в этом случае оставалось бы часа 2 для книг, с которыми я не расставался и на работе) — ни в какую. Нет ничего удивительного, что кое-кто из убежавших на Запад возвращается.

18. 11. Три дня не писал — как-то вдруг охладел. Дневник как безыскусная регистрация сиюминутных состояний и недавних событий много теряет, если браться за него нельзя в любой наиболее внутренне момент, если надо прятаться и спешить. Очень мешает и постоянно донимающее опасение, что он попадет в руки синих ребят. Не то, чтобы

я боюсь, что они в какой-то степени будут посвящены в те или иные подробности моих взглядов — я не делал из этого секрета и во время следствия — или узнают что-нибудь им не известное о нашем деле и его участниках — эти темы я обхожу, — нет, просто жаль времени и душевной энергии, растраченных не только впустую, но и во вред себе, окажись эти листки у них. Но сегодня я более оптимистичен и решил быть до конца последовательным, как того и требует мое невеселое положение — я буду делать свое дело, а там будь, что будет. У записи по свежим следам событий, разговоров, повседневных мелочей и впечатлений о них есть свои не малые преимущества перед сюжетным отбором материала, так или иначе ангажированного приверженностью к той или иной идейно-эстетической схеме. Сама синхронность фиксирования событий манит обещанием накопления материала, который позже подлежит более глубокому прочтению (если отбор материала будет предельно неупорядочен, — но это роскошь для меня несмыслимая). Неизбежна стилистическая сырость, эскизность, некоторая безответственность, скоропалительность или во всяком случае необязательность выводов. И главное — поменьше философии. ***Адвоката до сих пор нет. Странно. До суда всего 2 дня, а мы с ним после окончания следствия имели

лишь получасовую беседу, да и то больше в околомитературном остроумии состязались, нежели о деле говорили. Оно, конечно, наплевать, если и не придет, но хотелось бы порасспросить кое о чем — судом они лишают меня возможности прибегнуть к услугам адвоката-иностранного поданного? — единственного, кто мог бы позволить себе независимое поведение в суде и смог бы называть вещи их именами. Почему я не имею права, по утверждению прокурора Пономарева, дать суду отвод на том основании, что члены суда коммунисты, а меня судят, наряду с прочим, и за антикоммунистические убеждения?

20. 11. Вот так номер! Я, так и не дождавшись адвоката, с утра приготовился к суду, не ем, не пью от волнения, сижу, как на иголках и час, и другой, и третий... Наконец под вечер сообщают: «Суд перенесен на 15-е декабря». Ни мотивов переноса, ни вообще каких-либо объяснений — лаконизм предельный. И здорово — сообщили вечером дня предполагаемого суда. Пусть, де, потонутся ожиданием.

Эта пара дней полна у меня всяких событий. Вчера перевели меня в 239-ю камеру, вторую с края на 6-м этаже. В камере я обнаружил чернявого парня хлыщеватой наружности — Белкина Виктора. Он тут же поведал мне свою историю и стало мне

скучно. 4 года отсидел в колонии для малолеток, с год пробыл на воле и получил червонец за изнасилование несовершеннолетней. Ныне ему 21 год, сидит по последнему приговору около 2 лет. Ленинградец. Отец — экспрокурор, со связями; мать... «мать у меня такая ушлая, в торговле работает, — живем — во! Хотели ее привлечь к суду за подкуп и угрозы потерпевшей, когда бы не батя — не отвертеться ей». Батя спасал его не единожды, хотя и «осел». «Притащили меня в милицию, а начальник ее с моим батей вась-вась. Ну я вижу, — мне торч, говорю ему — дай, пахану брякну. Вали, говорит. Звоню: так, мол, и так — что делать? А он мне вместо того, чтобы, дескать, все отрицай, кричит: говори, что по ее согласию. А она ведь малолетка. Уж батя потом на все пружины жал, чтобы хоть до червонца срок сбить. Ну ништяк — сейчас они с мамашей обкатывают потерпевшую и ее старуху, чтобы они помиловку написали. Я тоже ее матери пишу: дескать, люблю и женюсь. Вроде клюнула». Сюда его привезли 2-го сентября — как и Салтыкова (целую партию их что ли забросили?) — свидетелем по делу о досрочном освобождении из лагеря за взятки. Навязчив, болтлив, шумен всячески... — вот это мне подарочек! Лучше бы я с Салтыковым сидел — мы с ним и словом не перекинулись за последние две недели.

Но этого хлопца я быстро поставлю на место, благо опыт у меня большой, даже и кулачный, — к тому же есть и чисто формальные зацепки: в лагере он работал художником, т. е. на сучьей должности, да и здесь в качестве свидетеля... Но сначала попытаюсь ужиться с ним по-хорошему, а то опять хрен на редьку сменяешь.

21. 11. Белкин с упоением читал письмо к матери «потерпевшей», как он неизменно называет свою жертву. Цветистый лакейский стиль. После принялся за составление послания к какой-то Вале — «заочнице», которую он атакует вот уже месяца два. Увидел ее фотографию в газете и теперь приглашает к любви. Поиск «заочниц» для многих уголовников занятие, поглощающее массу времени и энергии. Обычная цель: вырвать посылку и заманить на свидание. Последнее по закону хоть и не разрешается, но лагерное начальство, а, следовательно, и сотрудничающие с ним заключенные, с законом запанибрата. На мой вопрос, как же он отправит 2 письма (ему положено одно в месяц), похвалился, что следователь сам отсылает его письма — без счета. Проговаривается по молодости или фанфаронствует?

22. 11. Пришла в голову одна мысль. Как реализовать? Через адвоката исключено —

когда я с ним в единственную нашу встречу tête-à-tête заговорил на какую-то, с его точки зрения, скользковатую тему, он так недвусмысленно взглянул на стену со штепсельными розетками, что я понял, что он вполне приспособился к жизни в этой стране. Записку он, конечно, не возьмет, да и раздевают меня догола перед встречей с ним. Разве что во время суда удастся как-нибудь шепнуть Юрке. Обвинение нас в измене родине строится на уверенности — ничем, разумеется, не подтвержденной, — что мы стали бы вести себя враждебно по отношению к советскому государству, представься нам к тому возможность. В качестве одного из доказательств, что я не одержим никакими политическими амбициями, я могу сказать, что собирался, оказавшись в капиталистическом аду, первым делом добиваться разрешения на выезд за границу моей матери. Это правда. Но, во-первых, я решил вообще ничего не говорить, а во-вторых, мне никакие доказательства не помогут: браки, как известно, заключаются на небесах, а приговоры по такого рода делам, как наше, выносятся в Москве. Но Юрке или Алику¹⁾, а то и обоим сразу, этот довод может пригодиться. Не на суде — вышеприведенный

1) Юра — Федоров; Алик — Муженко.

сымпровизированный афоризм касается всех подсудимых, — а позже, если доживем до пересмотра дела. Суд же, я уверен, даст им под завязку — хотя по справедливости Алик, например, должен бы получить меньше всех, — ведь они единственные неевреи на скамье подсудимых. Вот за их счет и будет еще раз заявлено миру об отсутствии в СССР дискриминации. Кстати, меня могут тоже русским объявить — ведь нам с Дымшицем дадут, конечно, поровну: один еврей, один русский. Я просил во время следствия затребовать мои заявления в струнинскую городскую милицию о замене паспорта с внесением поправки в графу о национальности. Мне, разумеется, отказали — т. е. и в милиции, и во время следствия. А теперь убеждай суд, что человек — fifty-fifty — имеет право на восприятие себя в качестве еврея, хотя бы первоначально он и был официально зарегистрирован как русский. Начальник милиции сказал: «Чудеса. Впервые встречаю такое. Из евреев в русские — понятно, а наоборот...? Не могу разрешить, пиши в Москву...» Ничем не прикрытая ассимиляционная установка — в русские пожалуйста (но при этом очень важно, чтобы те, кому следует, все же знали, кто ты на самом деле по крови), в евреи — ни-ни.

23. 11. Тоталитарному государству мало-пригодна почва стран, где характерной чертой нации является отделение светских интересов от религиозных. Деспотия любит характеры цельные, мономанические. ***Самое, возможно, печальное (какое там печальное? — мучительное) в положении зека это вынужденный контакт со всяким дерьмом — в том числе и с дерьмом, имеющим власть и любящим командовать. В 64 г. меня, помню, преследовал некий майор Ермаков, спесивый, к месту и не к месту сообщавший, что он окончил филологический факультет в Саранске. Раз у нас вышел такой разговор. « За что вы лишили меня переписки с родственниками? » « За непосещение политзанятий. Почему не посещаете? » « Они мне не нужны — вот и не посещаю ». « Не нужны или, может скучны? » « И то, и другое ». « Мало ли что? Мне тоже не всегда весело, но я считаю... » « Вы, видно, привыкли к компромиссам, а я стараюсь не приучаться к ним ». « Что такое? — возмутился он. — Я принципиально бескомпромиссный человек. Вот например, как услышал я в первый раз в школе : сколько будет, если отнять от двух три? — ушам своим не поверил. Как это можно от двух три? И ни в школе, ни в университете, ни сейчас я этого не принимаю — не понимаю и не принимаю. Вот это я считаю бескомпромис-

сностью!» Был он великий тупица, но, в отличие от большинства лагерных работников, не очень охоч на откровенное иезуитство. И в некотором смысле он действительно был человеком принципиальным: если кому-то говорил, что упечет в тюрьму, то, как тот ни вертись, как ни лезь из кожи вон, он-таки доводил его до какого-нибудь эксцесса и, проморив с полгода в изоляторе, отправлял в тюрьму.

24. 11. Оказывается, еще Дмитрий Донской смещал и ставил митрополитов. Глубоки же корни принципов русской государственности, а! *** В последнюю встречу с Кругловым (это когда он меня по поводу обнаруженного гвоздя вызывал) он, понося евреев как плохих граждан СССР, в частности сообщил, что они сами виноваты, что их так много погибло в этой войне, ибо не оказывали сопротивления немцам. На мои возражения — мирное население, особенности массовой психологии, специфическая роль особой религиозности евреев, неверие человека в смерть ни за что, с неба свалившуюся, а главное, не только отсутствие надежды на помощь населения, но и уверенность, что их выдадут немцам и т. д. — он заявил буквально следующее: «Русский народ никогда не сдавался врагу! И никаких объяснений ему не нужно». Я было заикнулся о милли-

онной Власовской армии — где это, дескать, видано, чтобы на сторону врага перешел целый миллион? — но он велел мне прекратить «эти враждебные выпады». Участвовать в таком споре — кретинизм. Мне не хватает юмора, и я всегда клянусь себя за раздражительность, серьезную горячность, с какой бросаюсь навстречу идиотам. И... и никак не могу приучить себя к пренебрежительной мине. Вот и сейчас со злорадным удовольствием выпишу из Карамзина описание похода Эдигея на Москву: «Не было ни малейшего сопротивления. Россияне казались стадом овец, терзаемых хищными волками. Граждане, земледельцы падали ниц перед варварами: ждали решения судьбы своей, и моголы отсекали им головы, или расстреливали их в забаву... Пленников... иногда один татарин гнал перед собою человек сорок». Ах, избегайте, тов. Круглов, прямолинейных суждений о чужих народах, которые всегда ведь хуже вашего уж тем одним, что чужие! История российская поражает отсутствием даже намека на уважение к личности как таковой — ни за что, за то только, что личность. Человек лишь унавоживает ниву государства. Бояре в Думе друг друга за бороды таскивали и в морду плевали — не за велик стыд почиталось. Русская дуэль — это донос. ***А вот Карамзин выступает на нашем суде: «Бег-

ство — не всегда измена; гражданские законы не могут быть сильнее естественного: *спасаться от мучителя...*» Любопытно бы заняться историями всех русских беглецов — вплоть до пореволюционной эмиграции. Уверен в выводе, что это, как правило, люди не только незаурядные, но и предельно свободолюбивые. ***Вот еще очень русская сценка из Карамзина (столь же русская, как хороводы вокруг князя — «Князь ты наш, солнышко!» — а завтра его на сосну... ради хороводов другого князя): Иоанн IV отказался от царства, «столица пришла в ужас: безначалие казалось всем еще страшнее тиранства. «Государь нас оставил! — вопил народ. — Мы гибнем!... Как могут быть овцы без пастыря?» ***Опричнину можно рассматривать как своеобразный рыцарский орден — единственное русское рыцарство. ***Что-то меня сегодня разбирает обличать моих предков с материнской стороны. Находит иногда — видимо, отрывка после великодержавного самогона, которым поили с пеленок. ***И еще. Из письма Курбского Иоанну IV: «иже затворил еси Царство Русское, сиречь свободно естество человеческое, аки во адове твердыни, и кто бы из земли твоей поехал до чужих земель, называешь того изменником и казнишь смертью...»

25. 11. В Византии василевс не только царь, но и первосвященник — стирание граней между государственной и религиозной (в ином пространственно-временном контексте — политической) сферами жизни, слияние их. Идеальный василевс — Коба : и генсек и глава правительства разом. В отличие от античного индивидуализма, где на первом плане личность, как правило героизированная, в Византии господствует сверхличное начало. В советском государстве человек становится преимущественно личностью лишь когда он попадает под суд — тогда никакие ссылки на бытие, на « заевшую среду » (столь широко используемые марксистами еще и в начале этого столетия) не помогают. Вообще же говоря, несмотря на теоретическое признание роли личности, в подтексте всех исторических обзоров подвигов советской власти кроется убеждение, что победы едва ли не автоматически обеспечиваются верностью божественным предначертаниям Маркса-Ленина. Но это, я полагаю, не более как дань историческому славянскому мироощущению, ибо историю — во всяком случае внутригосударственную — творят весьма конкретные личности, любящие, когда слишком подопрет, погугорить о творческом развитии марксизма. Правда, вовне они подают себя как безличное орудие — и какая разница, Бога ли, марксизма

или того, что выдается за народную волю? Таким образом, все на своих местах — сохранение (и выгодное) традиционного мироощущения в низах и бесшумная грызня за личную власть наверху.

Припоминается такая деталь: в Византии инакомыслов казнили и вообще очень блюли идеологическую чистоту — особенно пристально приглядывались к тем, кто зачём-либо ездил на Запад, ибо Запад считался источником всяческих ересей. Все эти аналогии лишь на первый взгляд легковесны и дешевы. На самом деле они, несмотря на то, что аргументировать их не просто, правомерны, ибо корнями уходят в глубинные пласты того, что мало подвластно времени и метаморфозам государственной внешности, — национальные свойства, и там, где эти свойства разных народов близки друг другу по сути, аналогии оправданы.

26. 11. Оказывается, при фашистах мафия прекратила существование. Впрочем, так оно и должно быть. Всякий предельно диктаторский режим довольно успешно расправляется с организованной преступностью. Личная то ли диктатура, диктатура ли то административно-партийной олигархии, она считает организованную преступность своей прерогативой и не терпит конкуренции. Можно было бы даже решиться на несколько па-

радоксальное утверждение, что наличие организованной преступности служит — во всяком случае пока — безошибочным индикатором демократичности общества, если бы не приверженцы формального логизирования, тут же заявляющие, что в таком, де, случае — чем больше преступности, тем больше демократии. Организованная преступность — это подоходный налог с благ демократии, неизбежные издержки ее, как и порнография и многое другое. Или свобода печати плюс порно, или «Правда» минус порно. Старания уменьшить издержки демократии и не трансформироваться в несвободу при этом — извечная забота демократического общества.

27. 11. Берг: «Б. Годунов... послал 18 молодых дворян в чужие земли... Они скоро выучились языкам иностранным, но только один из них возвратился в Россию...» Ничего о мотивах: личная ли то неустроенность, нелады с очередным помазанником Божиим, принципиальное ли неприятие российских порядков или же предпочтения, обусловленные сугубо житейскими соображениями? ***Отношение к закону. В. Шуйский при венчании на царство дал народу клятву, «мыслил новый царь избавить россиян от двух ужасных зол своего века: от ложных доносов и беззаконных опал, ...мыслил дать

гражданам то благо, коего не знали ни деды, ни отцы наши... Но вместо признательности, многие люди, знатные и незнатные, изъявили негодование и напомнили Василию правило, установленное Иоанном III, что не государь народу, а только народ государю дает клятву. Сии россияне были искренние друзья отечества, не рабы и не льстецы низкие... — предпочитали свободную милость закону». На взгляд кое-кого из моих знакомых — очень умилительный исторический эпизод, а меня от таких историй коробит. Такой тип отношения к закону как к такому не хуже и не лучше любого иного — каждому свое. Но... но если тебя дергает от таких историй, тебе не место в этой стране.

28. 11. Европейские газеты начала века высказывали такое мнение: «Армянская резня организована самими армянами, чтобы впоследствии воспользоваться кровавой бойней как агитационным средством». Оказывается, не одни сионисты взрывают свои корабли ради агитации. ***Хватает души для стремления спасти человека, но не хватает мудрости приять и простить неблагодарность, серость и злобу спасенного. ***Юнец хватается за пистолет, чтобы суициднуться. На самом же деле — заставить себя оправдать жизнь вообще и свою, подсознательный

вызов мощи своей логики, моление к ней, пока он сидит и подводит итоги с пистолетом в руке. Подкрасться к краю пропасти, заглянуть в нее и, ужаснувшись, осветиться новым пониманием жизни. Человек часто сам загоняет себя на утес — не столько для броска с него (хотя этим нередко кончается дело), сколько взыскуя чуда: это и крик о помощи извне и упование на таинственное обретение неких сил в себе, для обнаружения которых нужна именно бездна у ног. Похоже на дикие скандалы супругов-психопатов: угрозами, упреками, обвинениями довести друг друга до предельного накала, до той черточки, за которой неизбежный разрыв, чтобы в последнее мгновение вырвать друг у друга истерические клятвы в верности и вечной любви — вот эта самая истеричность, горячность кажутся верными показателями правдивости, т. е. предельное душевное напряжение, подтверждающее искомое, желаемое, принимается в качестве точного свидетельства значимости и истинности того, чем ты обладаешь — жизнь ли это вообще и твое место в ней или супружеская верность.

29. 11. Добровольный пленник веры, если он одержим поисками истины (своеобразный комплекс), тем фанатичнее отстаивает единственную истинность своей веры, чем мучи-

тельнее сомневается в ней. Тревожимый проклятыми вопросами, он легко побивает атеиста, ибо тот лишь слегка думал о вере, возражения его поверхностны — на этом уровне верующий уже мучил себя и нашел ответы, а до того, более глубокого, пласта атеист не доходит (вообще: отрицающий то, что требует в первую очередь внелогического постижения, хоть на полштыка да не добивает до сути); и отвечая ему, «закомплексованный», все же не в силах разделаться со своими глубинными сомнениями. ***Похоже, я угадал, почему так вдруг перенесли суд на декабрь. Оказывается 25-го ноября 25 сессия Генеральной Ассамблеи ООН приняла специальную резолюцию о борьбе с угоном самолетов. Великолепный демагогический козырь, удар по всем сомнениям в справедливости приговора. С таким козырем можно нас и под вышак подвести. Не исключено, что меня не просто пугали расстрелом во время следствия. Сейчас мне во всяком случае кажется, что капитан Савельев, последний из трех следователей, готовивших меня к обряду крещения в зеки (или в покойники?) не блефовал, сказав: «По отношению к нашим врагам ничто не может быть достаточно жестоким. Наш закон предусматривает расстрел — советую вам помнить об этом». Сначала они пытались уломать меня уверениями, что больше 12 лет

я не получу, а потом заместитель начальника следственного отдела КГБ Ленинградской области подполковник Елесин В.П. — весноватый мужичок, этакий деревенский хитрец, работающий под рубаху-парня, — дважды угрожал мне расстрелом, если я не образумлюсь и не надумаю содействовать следственным органам. Хотел было написать протест против применения психических пыток, да раздумал — ничего не даст: это ведь не произвол, а рассчитанный ход, вполне согласующийся с эзотерическими правилами их игры.

Когда я узнал об освобождении из-под стражи Мэри ¹⁾, Алевтины Ивановны ²⁾, Лизы ²⁾ и Юлии ²⁾, чувство радости за них было омрачено впервые у меня возникшим подозрением, что или меня или Дымшица подведут под расстрел, для чего и создается гуманный фон. Хотя очевидная необязательность такого вывода тут же меня и утешила. Бывает, что по 58-й не привлекают к ответственности тех или иных лиц (даже в случае равной — а то и большей — виновности с теми, кого-таки усадили на скамью подсудимых) по разным соображениям, далеко не всегда ясным для непосвященных в тайны

1) Мэри Хнох — жена одного из «самолетчиков».

2) Жена и дочери Дымшица.

Лубянки. Уж кто-кто, а КГБ-то может позволить себе поамикошонствовать с законом... государственных польз для, разумеется. Произвол лиц, действующих от имени закона, это любой сдвиг — в сторону ли гуманности (всегда очень расчетливой), в сторону ли чрезмерной жестокости. Более того — один сдвиг предполагает, провоцирует и оправдывает другой. Разумеется, это не значит, что я хотел бы увидеть на той самой скамье Мэри и других — упаси Боже. Болей я за будущее России, сохрани я надежду на грядущее превращение российского Савла в Павла, я бы ратовал за строгое соблюдение закона, ибо выработка истинного уважения к закону и, следовательно, к человеку — спасение от многих традиционно российских бед. Но поскольку царство Смердяковых, перестрелявших в 17 г. всех Дмитриев и Алеш, а в 37 г. — Иванов Карамазовых, кажется мне достаточно вечным, я рад за любого, вырвавшегося из скифских жарких объятий, какой бы ценой это ему ни удалось...

Одна из наиболее действенных мер против угона самолетов — реальное уничтожение крепостничества хотя бы в государствах-членах ООН. Однако об этом в резолюции ни слова. Правда, напечатана она не целиком — может, в ней что-нибудь и говорится такого, что советскому гражданину не поло-

жено знать. Большинство из нас неоднократно ходатайствовало перед соответствующими органами о выезде в Израиль и получало немотивированные отказы. Ведь нельзя же всерьез воспринимать такую мотивировку: «Вы жилплощадью и работой обеспечены», если человек говорит, что считает Израиль своей настоящей родиной, средоточием своих духовно-национальных устремлений и именно поэтому хочет там жить. Угон самолета как мера защиты своих человеческих прав? Тогда вопрос может стоять лишь о превышении необходимости обороны.

Любопытно было бы попытаться определить меру ответственности человека за то, что его, например, мысль поддается демагогическому обыгрышу. Если он нечетко проставил все акценты, не исключил предельно (полностью никак нельзя) возможности двойственного истолкования ее друзьями и недругами, он так или иначе ответствен за жизнь своей — пусть и деформированной или даже кастрированной — мысли. Тем более не свободна от такой ответственности столь солидная организация, как ООН — в ее резолюции от 25-го ноября некоторые пожелания и призывы так расплывчато сформулированы, что и опытная рука какого-нибудь прокурора 3-го райха сумела бы исторгнуть из них нужные смыслы. Ведь и прокурорам нацистской Германии приходи-

лось обвинять беглецов из 3-го райха в государственной измене. Правда, угоны самолетов тогда не были в моде, но это деталь ерундовая. Беспокойство за жизнь экипажа и пассажиров самолетов — единственно серьезная тема резолюции. В нашем случае угрозы жизни посторонних людей не было. И не за угон самолета нас будут судить... Что такое для советской власти самолет и какой-то там экипаж? Измена родине — это да!... Возвращается, слышу, мой сокамерник — с прогулки.

30. 11. Знаменитый писатель это тот, что с великим апломбом говорит пошлости, не видит разницы между мышлением и популярным рассуждением на популярные темы, всерьез верит в уникальность своего видения мира и своих переживаний и не стыдится собственной глупости.

1. 12. Ну вот и зима. 15 дней до судилища. Если опять не перенесут. Им можно посочувствовать — столько сразу процессов. Надо их наиболее выигрышно обставить, предугадать их наивыгоднейшую очередность... Судя по обвинилровке, Сильве никак меньше 8 лет не дадут. Но если мне или Дымщицу вынесут смертную казнь, ее — ради гуманного фона для виселиц — могут пустить по 83 статье. Если бы она не была столь

неуместно простодушной! Даже по материалам следственного дела легко проследить все ее промахи, такие по-человечески понятные... Для любого, тем более для женщины, первая встреча с КГБ предельно тяжела. Трюки их хоть и не оригинальны, но на неопытную душу действуют почти безотказно, как безотказно проламывает череп тяжелая дубина, несмотря на всю свою неотесанность-стоеросовость. Только подписывая дело, я узнал, например, что Юрка не давал вообще никаких показаний, а мне еще в первую неделю после ареста читали выдержки из его «признаний». Трудно не поверить, когда взрослые люди с солидными звездами на плечах врут, глядя тебе прямо в глаза. Когда еще узнаешь, что это им не только ничего не стоит, но и входит в их прямые служебные обязанности! Точно также не могла не верить всем напраслинам, возводимым на меня опогоненными лгунами, моя мать, приезжавшая в лагерь на свидание — слезы, сердечные приступы и пр.

2. 12. Сторонники всяческих свобод крайне нетерпимы — особенно в своей среде. Помню, читал программу одного из революционных обществ — кажется, того, в котором состоял Д. Каракозов, — и там важнейшей задачей после уничтожения царя и помещиков считалось уничтожение инакомыслящих среди

своих же. Выходит, что само ратование за свободы по иронии жизни сопряжено с нетерпимостью — как и всякое ратование за радикально новый порядок. ***Среди здешних книг встречаются старорежимные, на форзаце их напечатано с ерами и ятями: « Берегите книгу : не рвите листов, не перегибайте корешок, не накрывайте ею котелков с горячей пищей и т. п. Книга от этого портится и ваши товарищи по заключению будут лишены возможности прочитать ее ». На советских суше : « В случае порчи книги, стоимость ее будет взыскиваться с виновного, а камера лишается права пользоваться библиотекой ». В первом случае призыв заботиться о других арестантах, во втором — не только угроза, но и привлечение всей камеры к ответственности, призыв к соглядатайству. ***По мнению дореволюционных иностранных наблюдателей, только староверы отличаются в России деловыми качествами. Староверы — что характерно для гонимых — хозяева, скопидомы, ростовщики, т. к. надо откупаться от гонителей. ***Уж сколько времени прошло после того, как Гёдель доказал теорему, что во всяком достаточно широком классе понятий необходимо есть вопросы, ответить на которые можно только расширив сам этот класс понятий, и, следовательно, абсолютно логически замкнутая система в принципе невоз-

можно. Но кто же руководствуется теоремами, когда дело идет о портфелях — всякая попытка расширить класс общепринятых понятий встречается в штыки. Основатели религиозных и социальных движений — люди, как правило, предельно самобытные, дерзновенные и в отрицании старого и в утверждении нового. Среди их последователей немало ярких личностей, пока новое движение не победило, а потом — ординарность, поклоняющаяся застывшему результату. Они всегда гонители очередной самобытности (в начале всякого движения цель — истина и справедливость, независимо от их толкования; после победы — удержаться бы у власти любой ценой) и дерзновения. Гонители под истлевшим знаменем своих пророков — вечно гонимых. ***Панин (екатерининский вельможа) : « Россия управляется милостью Божией и глупостью народной ». ***Объективность это бескорыстная субъективность.

3. 12. Сколь бы ни было трагическим твое мировосприятие, жизнь дает тебе такие унижительные пинки, что ты корчишься и кривляешься, как паяц, в самые неподходящие для трагической роли моменты. Им, конечно, мало приговорить меня к расстрелу, надо довести меня до нужной кондиции, чтобы я покривлялся на потеху публике.

Дудки! Будь я испанцем, как Унамуно, не побоялся бы пафоса крика: «Можете меня убить, но не убедить!»

4. 12. Ленин о буржуазной демократии словно бл. Августин о язычестве, добродетели которого суть только скрытые пороки. ***Лесков. «Некуда»: «Сейчас упеку, — говорит Никон Родионович. — Чувствуй, с кем имеешь обращение!» Народ это очень чувствовал и не только ходил без шапок перед Масленниковыми хоромами, но и гордился им. У нас теперь, — хвастался мещанин заезжему человеку, — есть купец Н.Р. Масленников прозывается, вот так человек! Что ты хочешь, сейчас он с тобою может сделать; хочешь в острог тебя посадить — посадит; хочешь плетюганами отшлепать, или так в полицы розгам отодрать, — тоже он тебя отдерет. Два слова городничему повелит, или записочку напишет, а ты ее, эту записочку, только представишь, — сейчас тебя в самом лучшем виде отделают. Вот какого человека мы имеем!... А вить что? — Наш брат мужик». ***Гонения на разномыслов страшнее геноцида, — геноцид лишает людей жизни, уничтожение же инакомыслия посягает на сам смысл жизни как таковой, т. е. дух, игру ее и рост через различия.

5. 12. У советских героев нет пороков, а

разве что недостатки, да и то только для того, чтобы преодолеть их. ***Белкин болтлив нестерпимо, но я решил подождать до суда — благо недолго теперь. ***Сюжетец: где-нибудь в горах двое. Один все говорит возвышенно и банально (можно даже не очень) о тишине. « О, тишина!... Ты высшее блаженство... бальзам усталому израненному сердцу... и т. п. ». Тогда другой бьет его камнем по голове, чтобы услышать тишину. ***Очень часто предстающий перед судом за антисоветскую деятельность соглашается считать себя преступником и раскаивается в содеянном — сказывается влияние подкормки, с детства обрабатываемой вполне определенным образом. Протестант, повзрослев, дозрев до собственных мыслей и научившись прислушиваться к голосу совести, возмущается сначала разрывом между декларируемым и действительным, потом и большим... — но чаще всего беззакониями, от которых лично он страдает лишь весьма косвенно (косвенно чаще всего вследствие молодости, так или иначе уберегающей его от наиболее грубых социально-политических затрецин). И вот это отсутствие лично приобретенных синяков, неприятие действительности сугубо теоретизирующее, а не кровное, и является причиной того, что застрявшее в подсознании благоговение перед властью в критический момент берет верх. Я знал одного эстонца в

лагере, который крайне недоверчиво относился ко всем тем, чье неприятие советской власти не было полито кровью. « У меня убили отца, двух братьев и невесту, — говорил он, — мне дороги назад нет. А вы так себе — играете в оппозицию ». Но логика репрессий такова, что единожды пробудившийся к социально-политической активности — при всей фактической невинности ее характера, ребячливости и школярском теоретизировании, — даже если лично он благополучен, попав в лагерь или бывает сломлен или быстро взрослеет, уже имея на власть очень личный зуб, ибо он-то лучше всех знает, что сидит ни за что — за детскую игру, за юношеский романтизм, за бескорыстные порывы. ***Когда человек намного сильнее другого (младенца, например), он не убивает его торопливо, за любой проступок (преступление), но наказывает снисходительно. Режим, знающий не только свою силу, но и правоту, не карает истерически жестоко.

6. 12. Первые 15 суток изолятора я получил за сомнительного свойства остроу. Проснулся после ночной смены от шума в бараке — начальник отряда проводит политзанятия на тему «Труд облагораживает человека ». Бес (очень часто меня посещающий) подсказал мне афоризм, с которым

я и ознакомил барак: «труд создал из обезьяны коммуниста». ***Научиться фиксировать правду правдиво — вот задача. ***Народу можно открыть глаза на истину лишь отдельного факта, но нельзя научить распознаванию истины. Он способен избавиться от одного заблуждения, чтобы тут же впасть в другое. Развитие способности к мышлению (которое не сводится к овладению набором логических стереотипов) — процесс длительный и сугубо индивидуальный (по выработке), а никак не массовый. ***Я — жертва склонности к каждодневным записям, с одной стороны, и намерением временно избегать всех тем, связанных с делом (т. е. с тем, что меня сейчас более всего волнует и, следовательно, достойно записи), с другой. ***Одержимые зудом социального экспериментирования с миллионами зачастую вырабатывают стереотипы управления людьми не такими, каковы они на самом деле, а такими, какими вожди желали бы их иметь — одна из предпосылок крови. ***Робеспьер сравнивал революционный трибунал с церковным судом: и тот и другой судят за абсолютное преступление — за преступление словесное. ***Политическая религия, основанная на откровениях вождя, допускает лишь в период борьбы за власть церковные соборы и мировоззренческие склоки. Потом декретируется и освящается политическая

теология, которая раздает на все вопросы догматизированные ответы, угрожая еретикам костром.

10. 12. Наконец-то я встретился с адвокатом. Он настаивает хотя бы на минимальном словесном участии в процессе — разумеется, в роли смирившегося, если уж не кающегося преступника. Ни та, ни другая роль не по мне. ***Судя о жизненных успехах человека, не забудь, если он верующий, о разнице меж земной и небесной жизнями. Может быть, он — небесный карьерист. И если здесь ему сочувствуют как терпигорцу, там, возможно, будут завидовать великолепно сделанной карьере. Знал я одного такого лжепопа, иезуита (по натуре), ханжу и доносчика — Бахров. Он был откровенен: «Если я и делаю добро, то не ради человека, которому его оказываю, а ради Господа и спасения своей души». Т. е. он зарабатывает крестики в книге грехов и добродетелей, добивается личного пропуска в Царство Небесное. (Кстати, у него мозоли на коленях от ночных молитв, а днем иезуитствует и доносит). По Канту это не добродетель, а заслуга, т. е. «условный императив», очень не симпатичная штука. Характерно, что ничто так не отвращает от религии, как личный — особенно камерный — контакт с верующими. Но это же относится и к

подавляющему большинству адептов любой политической идеи. Людей, как и Россию, хорошо любить издалека. ***Вы там, на Западе, все об отчуждении? Мы до этого не доросли — не до отчуждения (таких крайних форм его, какие возможны при советском госкапитализме, Запад и не знает), а до публичных жалоб на него. Мы все еще о хлебе, — не до жиру... Отчуждение, думаю, неизбежная стадия духовного роста человечества. Кто хочет ее избежать (скачками к алюминиевым чертогам) подобен дающему себя оскопить, чтобы не знать мук периода полового созревания. Монолитный Сид, раздвоенность Гамлета, «мыслящего пугливыми шагами», фаустовская душа, муки отчужденного сознания... ***Я теперь пишу почти не таясь — сказал сокамернику, что готовлюсь к суду. После обеда посетил нас зам. начальника следственного изолятора ст. лейтенант Веселов — длинный, худющий чекист лет 35, заливающийся краской смущения по всякому пустяку. Голубой чекист. Вроде голубого воришки. Он проговорился (не специально ли? но зачем?), что на Западе очень шумят в нашу защиту. Это, конечно, ни к чему не приведет, но все же очень бодрит. Нет ничего ужаснее глухой расправы. Веселов спросил в частности, не собираюсь ли я появиться на суде в ермолке, как Менделевич, который только прикидывается

верующим. Я возмутился голословности его утверждения. Тогда он поделился со мной таким наблюдением: «Я не видел еще верующих евреев. Единственное, о чем они думают, это о деньгах». «Уважаемый гражданин начальник, — как можно более почтительно сказал я, — еврей лежал на овчине, смотрел в небо и думал о Боге, когда вы еще цеплялись хвостами за ветку».

Камерная жизнь столь бедна событиями, что даже пустяковая словесная сшибка с начальником — целое происшествие, к которому не раз и не два возвращаешься в мыслях. Так и эдак подковыривая и пиная начальника (кто б он ни был, он всегда — персонификация всех враждебных тебе сил; такова психика каждодневно в чем-то ущемляемого зека, ему трудно быть объективным, как невозможно требовать объективности и спокойствия от человека, чьи гениталии заземлены дверьми). При всем том у меня вовсе нет ни чувства гадливости, ни слепой неприязни к чекисту, если он кажется мне чекистом по убеждению. Никого так не ненавидишь, как предателя и конформиста, равнодушного, маленького человека, жертву режима и пособника его одновременно.

11. 12. Азиатчина, «Чингисхан, огоньки волчьих глаз во тьме, снег и водка, кнут, Шлиссельбург и христианство» (Т. Манн).

Разве 3-й райх не дал пример азиатчины на Западе? Мы все из Азии — кто вышел, кто остался. Вопрос лишь в степенях удаленности. Азия — подсознательное. Выход из нее — символ исторического движения к примату сознания. Толпа — всегда Азия. Но характерно, что в Германии Азия у власти недолговечна, ибо внешние ее поражения — результат внутренней ее неправомерности. Как бы зная незаконность свою, она стремится подчинением себе мира доказать — себе в том числе (см. у Т. Манна где-то в статьях о двойственности психики немца) — свое право на существование (к агрессивности фашизма как сущности его присоединяется защитная агрессивность) и гибнет, в отличие от собственно Азии, ибо Азия на Западе беспочвенна. Запад — это древние галлы, мечущие стрелы в небо, это — Вольтер, протестующий во имя духа и разума против лиссабонского землетрясения, а Восток — это азиат на карачках перед идиолом.

***Вместо традиционного всхлипа «Нет в жизни счастья», наколю на груди гордое: «Жизнь — это способ существования белковых тел, — Энгельс». Уголовники иногда выкалывают на груди или спине пограничный столб «СССР-Турция», человека с котомкой, идущего в сторону Турции и надпись: «Иду туда, где нет труда». Очень характерное представление о Западе (Турция

— всего лишь ворота). ***В какой-то из камер скандал, очевидно, — топот ног, выкрики... Слов не разобрать. Голос одного из буйствующих, как у Аденауэра — сплошное хрипение. Аденауэр — это кличка одного зека (фамилию я его забыл, но под этой кличкой его знает вся Мордовия и Владимирская тюрьма). Гротескная фигура. Отсидел он что-то лет 30, предельно опустил и одурел. Свой день он начинал с мастурбации — прямо на глазах у всех, возле параша — и возвращался к ней неоднократно, пока после эякуляции в семени у него не появлялась кровь. Тогда он пугался чуть не до слез, а потом начинал буйствовать, требуя врача. Ежедневно он оглашал тюремный двор воплями из окошка: «Свободу Манолису Глезосу!», А иногда кричал: «Убили немцы брата Федьку — и выпить не с кем» или истошно острил: «А сегодня баланда-то жирная! Это повар за х... держался, в котле руки мыл!». Не было такой недели, чтобы надзиратели не избивали его до синезеленого состояния, частенько доставалось ему и от сокамерников, жизнь которых он превращал в муку уже одним фактом своего присутствия. После побоев он утихал на день-другой, а потом все сначала. Я впервые столкнулся с ним на потьминской пересылке в 62 г., когда я еще только ехал в лагерь после суда — конечно же, во власти попу-

лярных иллюзий о заключенных вообще и о политзаключенных в особенности (в русской литературе «несчастненькие» и «борцы», как правило, идеализируются — ведь ореол мученичества почти синоним святости в системе понятий, предполагающей в качестве одной из аксиом убеждение, что постижение глубинных истин и очищение даются преимущественно через страдание). Зашел я в крохотную камеру — метра 3 квадратных, — смотрю на нарах лежат двое — оба в коросте грязи, кругом какое-то тряпье, окурки, плевки. Ну, думаю, по ошибке меня к уголовникам бросили. Они молчат. Спрашиваю: «Я, наверное, не по масти попал?» «Я Аденауэр, — хрипит тот, что почумазее. — А это Коля-дурак; не обращай на него внимания. Садись, хлопец». «Да нет, у меня 58-я... наверное, меня по ошибке к вам — сейчас разберутся...» «У нас тоже полста с восьмерой», — утешил меня Аденауэр. Коля (фамилию я его запомнил; знаю только, что отсидев свой червонец, он был в день освобождения препровожден в сумасшедший дом) оказался-таки и впрямь дураком — мрачно-молчаливым маньяком, преследуемым «жидо-большевиками», которые собирались его отравить.

Делать было нечего — кое-как расчистив узенькую полоску нар, я улегся меж двумя первыми в моей жизни «политиками».

Взгрустнулось. Зашевелились кое-какие подозрения... « Чего у тебя, — спрашиваю у Аденауэра, — ухо синее? » « Чекисты, — говорит, — избили вчера ». Смотрю, он принялся что-то переписывать в тетрадь из газеты — буквы печатные, но не разберешь, что он там пишет. Он, заметив мое любопытство, солидно прохрипел: « Занимаюсь политикой. И тебе советую, а то будешь вот, как Коля-дурак ». Оказывается, Аденауэр переписывал « Правду » — всю подряд. Альтернатива — стать таким, как Коля-дурак, или как Аденауэр — меня ошеломила, и я, поспешно заключив, что лагерь, очевидно, таким образом устроен, чтобы сделать эту альтернативу единственной, впервые всерьез подумал о самоубийстве. Но на следующий день меня перебросили в другую камеру, и я — к радости своей — нашел в ней не сплошь Аденауэров и жертв сионистов. *** Белкин, захлебываясь радостью, повествует о своей овчарке. « Ложись! — ложится. Ко мне! — ползет ». Для таких, как он, собака — это возможность командовать, он любит в собаке беспрекословную, рабскую верность. Не это ли и все прячут за возведением собачьей службы в символ высочайшей верности? Совсем иное, когда ребенок не только ездит на жучке, но и пытается катать ее на себе. У Цветаевой нормальный ребенок скорее убьет гувернантку, чем соба-

ку. Похоже, я был нормальным ребенком, хотя ни собаки, ни тем более гувернантки у меня и в помине не было. И тем более иное у того (Пирогов? Боткин?), кто говорил, что хотел бы, чтобы в смертный час на него глядели ласковые, преданные глаза собаки.

***Полная свобода в земной юдоли невозможна, допустимо говорить лишь о степенях ее — да и то сплошь и рядом иллюзорных. Однако предпочтительнее других то общество, где стремящийся к максимальной свободе не неизбежно расшибает лоб о неодолимую стену социально-политического рабства. Стена эта есть, очевидно, всюду, но она не должна быть излишне прочной, — однако достаточно прочной для тех, кому нужна свобода рук лишь для установления диктатуры. Большинство с удовольствием подчиняется. И пусть. Не тащить же их насильно в рай (да и не в рай вовсе) свободы. Вопрос еще и в гарантиях неиспользования обывателя в ущерб свободным. ***От «свободы как осознанной необходимости» до иронии Т. Манна — «Добровольное рабство — это и есть свобода» — один шаг. Хотя поспешный шаг в другую сторону — анархическое бунтарство, романтический нигилизм...

***Почему сегодня Герцен устыдился бы серьезности тона повествования о себе в «Былых и думах» («Я благословил свои страдания, я примирился с ними..» и т. п.)?

Герцен, как и большинство мемуаристов, так или иначе творящих легенду о собственной личности, слишком всерьез воспринимают себя. Это характерная черта той эпохи. Ведь и его воспринимали всерьез и известно, что в конце концов эта серьезность оправдала себя в некотором смысле. Где причина и где следствие? Точнее, где следствие само становится причиной? Тот век намного нас моложе, в том числе и на целую советскую власть. Революционерам было ради чего умирать, верующим в Бога было куда умирать. Я же — рядовое дитя второй половины XX века — полагаю, что нет такой идеи, ради которой стоило бы умирать, и уж тем более — ради которой стоило бы рубить чужие головы. Сколько их было, этих идей — единственно истинных! — и голов! Проходило время и оказывалось, что идеи-то не совсем то, что нужно — а отрубленных голов уже не приставить. ***У нас тоже есть свой первородный грех — грех национального и социального происхождения. ***Герцен отнюдь не иконный прототип. Жизнь его полна и взлетов и падений. Но всегда он — человек. У Ленина (иконного) нет человеческих слабостей, как нет и падений, и поражений, и ошибок, как нет и друзей. У Герцена Огарев, а у него кто? Коба — одна из его ипостасей, которой нужно было лишь время для полного проявления себя. ***Если судить

о Ницше не только по его писаниям, он погиб бы в гитлеровском концлагере, хотя его афоризмы были наиболее расхожей идеологической монетой среди участников национальной формы пролетарско-мещанского движения. Не то же ли случилось бы и с Герценом, писавшим о России: «Все преступления, могущие случиться на этом клочке земли со стороны народа против палачей, оправданы вперед!» Тут речь с самого начала именно о преступлениях.

13. 12. Послезавтра суд. Вчера утром вдруг вознамерился составить черновик выступления в суде, если я на таковое почему-либо решусь. Оба дня безостановочно строчил и только сейчас, в десятом уже часу кончил. Так и не определил окончательно тип своего поведения на суде. Написанное — уже самим фактом своего существования — тяготеет к произнесению.

14. 12. Решил переписать сюда подготовленное мною выступление, заодно подчищу его в процессе переписки — надо убрать все излишне острые политические углы — только минимум.

«Прежде, чем приступить к изложению обстоятельств, предшествовавших моей попытке нелегально покинуть пределы СССР, я хотел бы обратить внимание суда на

специфику правонарушения, совершенного мною и моими друзьями. Нами двигали не вполне обычные страсти и без детального разбора всех хитросплетений мотивировок, приведших нас на аэродром утром 15-ого июня, не может быть и речи о понимании данного дела.

Прошу суд о терпении, ибо я намерен быть предельно обстоятелен.

Дабы не растекаться мыслью по древу, буду придерживаться текста обвинительного заключения. « Будучи антисоветски настроен, Кузнецов в 69-70 гг. вошел в преступный сговор с Бутманом... », чуть ниже : « Будучи враждебно настроен по отношению к советской власти... », еще ниже : « Будучи осужден за антисоветскую деятельность в 62 г., после отбытия наказания вновь стал заниматься антисоветской деятельностью... ». Поскольку это шаманское заклинание — « будучи... » — неспроста так часто употребляется составителями « Обвинительного заключения », я хотел бы хоть отчасти вскрыть реальное содержание состояния, зашифрованного столь зловеще-многозначительно.

Родился я в 39 г., в 56 г. окончил десятилетку, работал на заводе токарем, потом служил в армии, потом учился на философском факультете МГУ, а в 61 г. КГБ, сочтя мою социальную активность выходящей за

пределы декретированного русла, арестовал меня и оценил степень отклонения моего поведения от желаемого в 7 лет. Сначала я, по наивности и юношескому неразумению государственных польз, был, признаться, весьма огорошен такой суровой оценкой моей опасности, т. к. — продукт советского воспитания — не поднимался выше критики советской власти в ее же рамках. Жертва юношеских мечтаний, поиска себя, в какой-то степени жертва буршеских страстей и школярского понимания ряда мировоззренческих положений, я был еще и трагикомической жертвой целой системы мифов — иначе я не могу объяснить тогдашнее свое непонимание природы жестокости приговора. Осознание *принципиальной* несправедливости этого приговора сыграло не последнюю роль в формировании взглядов, которые я, вслед за обвинением, согласен признать антисоветскими. Характерно, что и в концлагере недреманное око «правосудия» не оставляло меня в покое. Я не имею в виду бесчисленные карцеры и двухгодичное пребывание во Владимирской тюрьме, я говорю о нарушении принципа, являющегося краеугольным камнем едва ли не любого законодательства, — о невозможности дважды судить за одно и то же преступление. Весной 63 г. Мосгорсуд, непонятно из чего исходя, пересмотрел мое дело и, «учитывая личность

преступника », приговорил меня к содержанию до конца срока в лагере особого режима, хотя по первому приговору мне был определен усиленный режим. Разница из существенных, смею заметить. Месяцев через 9 обнаружилось, что это является нарушением чуть ли не полудюжины статей. Решение суда было отменено и мне был назначен строгий режим, что было опять же нарушением точно той же полудюжины статей. Но к тому времени я уже не искал обычной, человеческой логики в действиях репрессивных органов. И здесь будет уместно вкратце охарактеризовать мои взгляды, которые я более обстоятельно изложил на следствии — суд может ознакомиться с ними по материалам дела. Мною давно изжито активное неприятие существующего режима. Рассматривая категорию « национальной души » в некотором отношении вне-временно, во всяком случае полагая, что ряд ее сущностных структурных характеристик практически неизменен, я считаю, что типовая структура политической культуры русского народа может быть названа деспотической. Вариации этого вида власти не ахти как велики — рамки исторически заданы Иваном Грозным и Петром Первым. Я считаю советскую власть законной наследницей этих двух по-разному идеальных русских правителей. Осознав себя евреем, не

ощущая в себе ни склонности к властвованию, ни любви к безропотному подчинению, ни питая надежд на радикальную демократизацию исконно репрессивного режима в обозримом будущем, считая себя ответственным — пусть и косвенно — в качестве гражданина этой страны за все мерзости, ею совершаемые, я решил покинуть пределы СССР. Бороться с советской властью я считаю не столько делом невозможным, сколько ненужным, т. к. она вполне отвечает сердечным вожделениям значительной — но, увы, не лучшей — части населения.

Мать моя, Кузнецова Зинаида Васильевна, русская, отец, Герзон, Самуил И (?), умерший в 41 г., был евреем. Очень характерно, что именно в 53 г. моя мать сменила фамилию — а вместе с нею и я в качестве несовершеннолетнего, — взяв свою девичью — Кузнецова. Мог ли я знать — 16-летний и безмозглый комсомолец, — какой двусмысленностью обернется моя уступка настоянию матери записаться при получении паспорта русским? Наблюдая проявления стихийного народного антисемитизма, а иногда и угадывая совпадение этих проявлений с некоторыми аспектами сознательной государственной политики, я, созрев до собственного мировоззрения, счел лично для себя необходимым присоединиться к гонимым.

Я вырос в русской семье, о еврейской

культуре — не имея в виду ее преломление чуть ли не во всех культурах мира — у меня практически нищенское представление, и потому на первой своей стадии мой выбор себя в качестве еврея был продиктован скорее эмоциональными, нежели осознанно кровными мотивами. Нечто вроде цветаевского: Так не достойнее во сто крат стать вечным жидом? Ибо для каждого, кто не гад, еврейский погром — Жизнь».

Месяца за два до освобождения из Владимирского централа я подал заявление на имя начальника тюрьмы с просьбой записать меня евреем в документах, которые я должен был получить по выходе из тюрьмы. Мне отказали, сославшись на изъятый при аресте паспорт. Позже я обращался в милицию с просьбой о перемене записи в графе о национальности — сначала мне отказали потому, что я был под гласным надзором, потом потому, что у меня не снята судимость, снять же ее я мог лишь через 8 лет. Ассимиляторов вполне, разумеется, устраивает считать меня евреем, но числить в русских.

Не скрою, что пройдя за 7 лет все круги пенитенциария, я психически устал и, освободившись, мечтал лишь о том, чтобы меня оставили в покое. Но где там? Слежка, надзор, вызовы в КГБ, в милицию, необходимость ютиться по чужим углам... Меня прописали в г. Струнино Владимирской об-

ласти. Иногда струнинская милиция письменно разрешала мне съездить в воскресенье в Москву к матери, однако московская милиция рекомендовала мне «не попадаться ей на глаза». Так что и в эти редкие — вроде бы дозволенные — наезды домой я вынужден был скрываться, ночуя у друзей. И так должно было продолжаться 8 лет. Не правда ли, кое-что проясняется в мотивах моей попытки эмигрировать, мотивах, которые с примитивной тенденциозностью зашифрованы в сакраментальном зачине — «Будучи антисоветски настроен...»?

В январе 70 г. я переехал в Ригу, к жене. В феврале нами был получен вызов из Израиля и встал вопрос о сборе документов, кои необходимы для подачи в ОВИР прошения о выезде за границу. Проблема проблем — получение производственной характеристики. Производственная характеристика («с работой (не) справляется, в общественной жизни участие (не) принимает, морально (не) устойчив, идеологически (не) выдержан...») для выезда в Израиль на постоянное жительство. Что это — неосознанно-издевательский настрой предельно бюрократизированной государственной машины или плод личного творчества какого-нибудь партийного функционера? Так или иначе каждое второе слово в устах некоторого числа хмурых граждан СССР — характеристика.

Ее не дают по разным причинам. Одному — потому что он служит в армии (Вульф); другому — потому что он учится в ВУЗе (Израиль) и стоит ему заикнуться об этой характеристике, как его исключают из института и забреют в солдаты, а ни во время военной службы, ни в течение как минимум 3-х лет после нее о выезде за границу не может быть и речи; третьему (Сильва) — потому что он недавно окончил институт; четвертому — просто не дают. Чаще всего ссылаются на отсутствие письменного запроса о характеристике из ОВИРа. Последний же посылать запрос отказывается, сообщая, что « характеристика нужна вам, а не нам ». Лично мне известно достаточно большое число людей, для которых само слово характеристика стало чуть ли не наваждением. Но еще большее число людей, желающих выехать за границу, не находит в себе достаточного мужества для публичного обнаружения своего желания. Не говоря уж о неизбежных опасениях, питаемых памятью о недавнем прошлом, страхов перед возможностью повторения мрачных гримас истории, все достаточно хорошо знают о роковой неизбежности — пусть и не столь откровенных, как бывало, — репрессивных мер воздействия на потенциального « изменника родины » (которому зато в трамвае можно под одобрительный улыбчивый аккомпанемент

всего вагона рывкнуть : « Убирайся в свой Израиль ! »). Как только твое желание эмигрировать становится достоянием производственно-милицейско-квартирной гласности, тебе уже не дают « забыться ». Кое-кто сопровождает слово « Израиль » ритуальным действием — заклинивает телефонный диск карандашом. Недаром, недаром так надрывно смеются над анекдотом : « Евреи, отъезжающие в Израиль, ваш поезд отходит с Северного вокзала ! »

По месту моей работы в Риге я не мог получить характеристику, т. к. работал там, говорят, слишком недолго. Я поехал в Москву, а потом в Струнино, полагая, что там я трудился достаточно долго, чтобы надеяться на получение этой бумажки. Когда я сказал начальнику отдела кадров, что приехал из Риги специально за характеристикой, он удивился, сообщив, что они могли бы выслать ее мне по почте. « Видите ли, — смущенно пояснил я, — то учреждение, которое требует мою характеристику, настаивает, чтобы на нем стояло : « Для выезда на постоянное жительство в Израиль ». (Легко объяснимая предосторожность : ведь характеристику — просто так — получить не составляет особого труда). Не буду описывать эмоционально-демагогических реакций начальника отдела кадров на мое пояснение, скажу только, что мне было велено явиться

на следующий день к председателю фабкома, и тот после ряда банальных вопросов типа «зачем ты едешь в Израиль?» и «Что тебе там делать?» вдруг огорошил меня: «А если завтра моего сына пошлют защищать арабов, ты что же — стрелять в него будешь?» Ну как тут было не спросить: «А разве ваш сын уже вернулся из Чехословакии?» Характеристику мне, естественно, не дали.

Кто как реагирует на откровенные издевательства. Можно ждать из года в год — чему много примеров, — жить, сидя на чемоданах, с великим трудом собирать ежегодно документы — кому это под силу — для подачи их в ОВИР, писать объяснения на тему, что в Израиле у тебя родственники, что Израиль твоя истинная родина, что ты стремишься туда по духовно-национальным соображениям и получать ответы типа: «Жилплощадью и работой вы обеспечены, материально от родственников, проживающих в Израиле, не зависите и потому оснований для разрешения на выезд нет». Это не по мне. Я счел себя ущемленным в праве на эмиграцию и заключил, что имею моральное право ответить на цепь незаконных актов, правонарушением, охватываемым диспозицией ст. 83 УК РСФСР. Я имею в виду незаконный выезд за границу, караемый сроком до 3-х лет. Я заявляю, что акт,

на совершение которого мы покушались, квалифицирован обвинением ложно. Нам инкриминируют *умышленные* действия в ущерб государственной независимости Союза ССР. Совершенно очевидно, что прямым умыслом каждого из нас был выезд за границу. В период предварительного следствия я с унылым упорством пытался выяснить у всех трех следователей, поочередно работавших со мной, и у прокурора Пономарева, что надо понимать под посягательством на государственную независимость СССР в данном конкретном случае. Несмотря на убогость их фантазии, я все же понял, что дело сводится по преимуществу к причинению ущерба престижу СССР, ибо наш побег был бы ложно обыгран вражеской пропагандой. Ну, во-первых, ориентироваться при оценке тех или иных деяний на клеветнические обыгрыши так называемых врагов — занятие несолидное, а во-вторых, вряд ли кого-нибудь из нас остановило бы предположение, что этот побег послужит *укреплению* престижа СССР. Ни СССР, ни его престиж не определяли наших действий и намерений.

С юриспруденцией у меня шапочное знакомство (всего лишь вторая судимость!), в следственном изоляторе мне категорически отказываются дать какую-либо юридическую литературу (я не могу получить даже кон-

ституцию СССР!), поэтому свои соображения я не могу подкрепить соответствующими ссылками и цитатами. Однако мне хотелось бы отослать суд к книге «Особо опасные государственные преступления», вышедшей где-то в году 65, — там утверждается, что измена родине может быть совершена лишь с прямым умыслом причинения ущерба государственной независимости СССР. Наличие такого умысла у нас следствием не установлено. В данном случае можно говорить только об эвентуальном умысле, каковой состава измены родине, на мой взгляд, не образует.

Я считаю, что каждое государство, ратифицировавшее «Всеобщую Декларацию прав человека» (а СССР ее ратифицировал), обязано реально гарантировать каждому своему гражданину осуществление прав, о которых говорится в этой Декларации. В том числе и ст. ст. 13, 14 и 15. Лишь в ответ на вопиющее попрание моих человеческих прав я решился на бегство за границу. Это был акт отчаяния.

Мы не собирали сведений о военном потенциале СССР, не перерисовывали двухсвайных деревянных мостов (к иным у нас нет доступа), не подкрадывались к государственным секретам... Я полагаю, что нельзя нас судить, исходя из предположения о том, как бы мы вели себя за границей и как

пропагандистская служба тех или иных государств оценила бы наш побег. Если же говорить о престиже СССР, то нет никакого сомнения, что ответственность за ущерб таковому несут те, кто, лишив нас возможности выехать за границу легальным путем, спровоцировали покушение на нелегальный выезд, а теперь обвиняют в измене родине, нанося самим фактом такого обвинения наиболее ощутимый удар по престижу СССР. Ибо во всех цивилизованных странах побег за границу расценивается не более как мелкое правонарушение. Нет сомнения в том, что всякое государство имеет право карать за деятельность, которую оно считает враждебной себе, но карать лишь исходя из конкретно инкриминируемых актов, а не в зависимости от того, как эти акты будут названы. Из книги «Нюрнбергский процесс над нацистскими судьями», изданной «Юридической литературой» в 70 г., явствует, что работников гитлеровского судебного и законодательного аппаратов судили в частности и за то, что они приговаривали к смерти людей, пытавшихся бежать из 3-го райха. Вальтер Брем, бывший помощник главного имперского прокурора при «народной судебной палате», признал, что они судили людей, покушавшихся на побег, исходя из *надуманных предположений* о том, что эти люди вступят за границу в воинские подразделе-

ления, враждебные райху. Это было во время войны! Таких людей судили, основываясь на мнении, что они будут вести себя враждебно райху, как только им к тому представится возможность.

Военный трибунал признал, что расширительное толкование понятия государственной измены, практиковавшееся в 3-м райхе, давало возможность нацистским судьям выносить смертные приговоры за деяние, являвшееся мелким правонарушением в глазах всего остального человечества; Военный Трибунал признал такое расширительное толкование понятия государственной измены военным преступлением и преступлением против человечества.

Не отрицая факта покушения на побег за границу, я категорически не согласен с квалификацией его как измены родине, считая такую квалификацию результатом противоправного, расширительного толкования понятия измены родине.

Относительно ст. 93 ч. I УК РСФСР (о хищении государственной собственности в особо крупных размерах). Ни у кого из нас не было намерения присвоить самолет. Мы убеждены, что он был бы возвращен государству-владельцу. Поэтому о хищении не может быть и речи. Тут можно было бы говорить о попытке временного отчуждения государственной собственности, а это нечто

иное, нежели хищение. Если некто, поспешая на комсомольское собрание, завладеет чужой автомашиной и, добравшись до нужного ему пункта, оставит ее на площади, полагая, что она вскоре будет обнаружена и возвращена владельцу, то это не образует состава хищения. Хотя до недавнего времени за подобное преступление судили как за хищение, однако затем появилась специальная статья (Уголовного кодекса) об ответственности за угон машины. В нашем случае тоже можно говорить только об угоне самолета, преступлении принципиально однородном с угонем автомашины, если взять за критерий отношение субъекта преступления к объекту. Возможно возражение, что пока еще нет статьи об угоне самолета, а вот когда она появится... А как быть с пароходами, паровозами и малогабаритными космическими кораблями? Да, такой статьи пока нет. Но это не значит, что можно применять статью по аналогии, что не так давно запрещено советским законодательством. В частности признано, что имевшая место практика осуждения угонщиков автомашин как похитителей порочна. В нашем случае ситуация аналогична. Да, статьи об угоне самолета нет. А это значит, что обретает жизнь известный принцип древнеримского уложения: «Нет закона, нет и преступления». Я требую, чтобы нас судили за содеянное —

покушение на угон самолета, — но не за хищение, о котором мы и не помышляли.

Для иллюстрации моего подхода к данному вопросу я осмелюсь навязать суду такую дилетантски сочиненную притчу, разумеется памятуя, что она не может исчерпать всех аспектов рассматриваемой здесь ситуации — однако некую суть можно посредством ее выявить.

Некоторому человеку сообщили, что он имеет право на получение определенной суммы, сообщили в уверенности, что он не сумеет даже пожелать обрести ее. Однако — жертва мировоззренческих аномалий — однажды он-таки пришел в кассу. Кассир грубо отчитал его и захлопнул окошечко. И так до семи раз. Сей оказался не на высоте христианского смирения и всепрощения («не до семи, но до семижды...»), а, надеясь получить ему причитающееся, попытался ворваться в помещение кассы, взломав дверь при помощи... ну, чего бы, например,... да вот хотя бы канцелярской ручки — собственности данного учреждения. На этой стадии преступления ему и заломили за спину белые рученьки. Ему, убогому, не то, чтобы невдомек, но совершенно было наплевать на то, что бухгалтер соседнего учреждения подсиживает здешнего кассира и может этот сам по себе незначительный

скандалчик обернуть себе на потребу. Преступник считает себя виновным лишь в легкомыслии, которое выразилось в серьезном отношении к слухам о его праве на некую сумму, в последующем раздражении, когда открылась фиктивность этого права да в отсутствии должного смирения. Его же обвиняют в пособничестве врагу-бухгалтеру, измене учреждению и хищении канцелярской ручки. На суде он пытается защищаться, но ему это, разумеется, не удастся.

Кроме всего вышеизложенного, меня обвиняют в хранении и размножении антисоветских материалов. В хранении и размножении с целью подрыва существующего в стране политического режима. Ну о своем отношении к советской власти и о причинах, по которым я не намерен ее подрывать, я уже говорил. Добавлю только следующее. Я рассматриваю существующий в стране режим как разновидность тиранической светской религии, божеством которой является государство. О возможности секуляризации России говорить пока не приходится. Можно говорить лишь о смене языческих культов в этой принципиально религиозной атмосфере. Всякая же религия характеризуется особой кровожадностью именно на заре своего существования, — потом она стареет и удовлетворяется поджариваньем еретиков лишь по преимуществу в фигуральном смысле.

Способствовать смене уже дряхлеющей религии другой, молодой — не умно.

Горстка мужественно мыслящих оппозиционеров — явление столь же характерное для России, сколь и чуждое ее национальным корням — погоды не делает и не сделает, очевидно. Число же играющих во фронду то несколько возрастает, то резко падает — в зависимости от колебаний политического барометра. Тут по преимуществу юнцы, таким образом компенсирующие того или иного рода ущербность и наконец в браке обретающие подходящий резервуар для изливания томящих их энергий... Или поседевшие в салонных битвах старцы. Последним никак не откажешь в искренней любви ко всяческим свободам, они даже немало и делают для их реализации, но суть их в выработанном десятилетиями умении чують ту черту, перейдя которую, плюхнешься в дела, « за которые сейчас сажают ». Если сегодня смотрят в некотором смысле сквозь пальцы на самоиздат, он — самоиздатчик, если завтра за самоиздат начнут сажать, он переключится на анекдоты, а послезавтра ограничится либеральным кукишем в кармане, почитая и таковой кукиш за великий подвиг, что и не совсем неверно, если иметь в виду времена, когда сажали людей за то, что они « злобно молчат и антисоветски улыбаются ». А похоже, что и

мыслящая часть общества с ужасом смотрит на реанимационную возню над трупом гения всех времен и народов. Если бы кто-то высказал мне аналогичные взгляды на существующую ситуацию, я очень понял бы его желание покинуть святую Русь. Не знаю, понят ли я вами? Я еврей и хочу жить в Израиле, на земле моих предков, на земле величайшего из народов. Это однако не значит, что Россия для меня не родина — родина, но и Израиль — родина, и избрал я именно его. В иерархическом ряду ценностей в моей системе отсчета родине отведено, вообще говоря, не первое место — первое там занимает свобода, тем более привлекает меня Израиль — он мне Родина и свобода.

Мне вменяют в вину хранение и распространение двух книг: «Мемуаров» Литвинова¹⁾ и «Политических деятелей России» Шуба²⁾. В моей библиотеке был, кстати сказать, и Ленин. Однако в распространении ленинизма с целью укрепления существующего режима меня почему-то не обвиняют. Читал я и Ленина, читал и Литвинова, и Шуба и многое, признаться, другое. Читал для себя, читал, потому что от природы

1) Имеются в виду опубликованные на Западе **подложные** Мемуары Максима Литвинова.

2) Давид Шуб. Портреты политических деятелей..., (Нью-Йорк, 1969).

любознателен, а не для подрыва, как и не для укрепления чего бы то ни было. Поэтому, если считать эти книги клеветническими, то судить меня за хранение, чтение и распространение их можно лишь по ст. 190-1, а не по ст. 70 ч. II УК РСФСР и 65 ч. II УК ЛатвССР. Хотя мне никогда не попадался на глаза индекс запрещенных книг, я согласен счесть книгу Шуба антисоветской, но, лишь в той мере, в какой всякая книга об апостолах, блаженных и угодниках революции является антисоветской.

« Мемуары » же Литвинова я склонен отнести к категории книг, « нерекондованных для чтения » (есть и такие, оказывается !) советскому верноподанному, таким образом, я рекомендовал бы суду применить ко мне только латвийский эквивалент ст. 190-1 УК РСФСР, отличающейся от ст. 70 наличием только эвентуального умысла подрыва советской власти. Я не считаю эти материалы поистине антисоветскими; отчасти это подтверждается и тем, что я отпечатал их на машинке, образец шрифта которой был тайно взят по приказу ст. лейтенанта КГБ Федотова Прохоровым Анатолием Васильевичем (агентурная кличка « Студент »), до ноября 69 г. проживавшего по адресу : г. Струнино, [ул.] Орджоникидзе, 74.

Резюмирую вышеизложенное : справедливым я могу признать лишь осуждение меня

по ст. ст. 83 и 72 УК РСФСР, а также по статье Латвийского кодекса, аналогичной ст. 190-1 УК РСФСР.

Призыв ООН бороться с захватами самолетов как не одобрить — при условии, что все государства-члены ООН не препятствуют своим гражданам покидать одну страну ради другой — хотя бы в мирное-то время.

Мы ориентировались на определение воздушного пиратства как такого акта, когда самолет захватывают в воздухе, что создает ситуацию, наиболее опасную для экипажа самолета и пассажиров. Мы намеревались захватить самолет на земле, отстранить пилотов от управления и поднять машину в воздух, не имея на борту посторонних — одни изменники родины, все свои парни.

Единственная реальная моя вина — нежелание жить в СССР. Без меня! (прибегая к счастливому слову Белинкова). Без меня выращивайте свои невидимые урожаи, пожинаяте неслышанные успехи, геройствуйте в космической пустоте. Без меня! Без меня!

Я полагаю, что цемент коммунистического барака достаточно полит и моей кровью (ах, разумеется, выражаясь фигурально!), и я не прочь быть упомянутым в будущей *подробной* истории России. И лучше всего так, как Карамзин в своей «Истории государства российского» упоминает о некоторых чрезмерно совестливых и бессильных по

тем или иным причинам эфемерах. Вроде : « Князь Боровский Василий Ярославич, не захотев остаться в России после такого ужаса, отъехал в литовскую землю ».

В общем многословно, сумбурно и не совсем в цель. Очевидно, много вообще ненужного, лишнего, масса литературщины... Но пока я не в силах критически осмыслить написанное — еще пульсирует пуповина, связывающая меня с этими листками. Ну а поскольку наплевать, то не стоит особенно то и беспокоиться. Отбой.

15. 12. Первый день суда позади. Длилась сегодняшняя комедия с 9 ч. утра до 7 ч. вечера, а привезли нас в клетки уже в 9-м часу. Устал — с ног валюсь. Сегодня выступали Дымшиц, Иосиф и Сильва. Завтра начнут с меня. Официально считается, что дело слушается при открытых дверях, однако открыты они только для наших родственников да для обладателей спецпропусков — этакая мордастая спецобщественность. Лурьи сказал, что приехала Бэла, но ее не пускают. Завтра подам заявление суду с требованием пропуска для нее как для двоюродной сестры. Люся будет, очевидно, на всех заседаниях суда, как и Иосиф Д. с Семкой — чувствуешь себя совершенно иначе, когда можно остановиться взглядом на знакомых лицах. Дымшиц говорил неплохо — напряженно, с накалом. Но весьма

огорчило меня какое-то истероидное упрямство, с каким он делает Бутмана нашим соучастником, заявляя, что тот знал о побеге. Сведение счетов? Не при посредстве же суда? Он, как впрочем и я, убежден, что провалом мы обязаны болтливости членов «Комитета». Иосиф — молодчина, весел и откровенно беззаботен, хотя головы не теряет. Но более всего я рад за Сильву — она пришла в себя и не признала себя виновной по всем пунктам обвинения. Как и все, кроме Изи и Бодни. Хотя во время следствия Дымшиц и Сильва признавали себя полностью виновными. Великое дело, когда не один, как в следственном кабинете, а среди своих, — даже если за каждое украдкой сказанное слово следуют окрики и угрозы конвоя. Не исключено, что тут и не без моего влияния — я пользовался во время следствия всяким поводом, чтобы как можно более подробно зафиксировать в протоколе допроса свои доводы о неправомерности квалификации наших действий по ст. 64 «а» и аргументацию в пользу ст. 83. Я именно рассчитывал, что после ознакомления с делом все будут в курсе моей позиции, а присоединиться к ней или нет — дело каждого.

Прокурор дубина. Дело знает плохо — его то и дело выручает Катукова (его помощник). После окончания заседания я пожало-

вался Лурьи, что меня от одной физиономии прокурора передергивает, не говоря уж о его красноречии. « Должность, — говорит, — такая. А что не очень знает дело, так ему и не обязательно. Он больше, так сказать, символизирует волю государства... Думаете, Каренин был приятнее? » « Зачем так далеко ходить, — толкую я ему, — та же Катюкова, рядом с ним, — умница. Видели, как она его толкает в бок, это символ, когда он чересчур завирается? Так и видно, что ей ужасно неудобно за него иной раз ».

Мы предварительно договорились всячески выгораживать женщин, если уж до того дойдет. В частности условились представить дело так, что они будто бы ничего толком не знали, действовали, слепо повинувшись мужской воле.

16. 12. Проснулся еще до подъема — ни аппетита, ни сна... Похоже, сейчас около 5 часов утра.

Перед самым отъездом из Риги — в квартире кавардак, беготня и судорожное веселье. — Сильва спросила меня: « А что нам будет? » « Если им удастся обстряпать дело в тишине, то мне могут и вышак дать, — не без самолюбования ответил я, но, увидев ее глаза, устыдился и торопливо заключил. — Но, конечно же, не расстреляют. Если и дадут смертную казнь, то только для остра-

стки другим. А тебе — от силы года три, только веди себя, как условлено». «Я не хочу. Пусть и мне, как всем». Мне бы поговорить с ней помягче, отложив на время все дела, а я ограничился окриком... Теперь она воображает, что облегчит нашу участь, полностью разделив с нами бремя ответственности. И еще эта жертвенность...

Как я и был уверен, ее здорово водили за нос. Она мне успела шепнуть: «Меня обманывали: говорили, что ты давно раскололся, пугали, что расстреляют тебя...»

Дымшиц пересказал часть беседы Хрущева с Насером во время приезда последнего после суэцкого кризиса. Прокурор Дымшицу: «А вы слышали этот разговор? Вы присутствовали там?» Марк даже оторопел от неожиданности. Ему бы что-нибудь язвительное в ответ: даже, де, — марксистские методы познания не сплошь сводятся только к биванию и подслушиванию. Если эта балда Соловьев завтра будет столь же нагл, меня, боюсь, может понести...

Вот вчерашний разговор с Лурьи (в присутствии начальника конвоя), вернее два разговора: один в обеденный перерыв, другой вечером, после судебного заседания. Утром я сообщил ему, что, кажется, все же выскажусь завтра — насколько это будет можно. Он было обрадовался, но тут же заподозрил: не окажется ли это хуже мол-

чания? Я подтвердил его подозрения, но объяснение не состоялось — начался суд. *В обеденный перерыв.*

Лурьи : — Вы что — и дальше так намерены себя вести?

Я : — То есть?

Лурьи : — Ну вот это — с паспортом. (Он имел в виду следующее. На вопрос судьи о национальности я ответил: «Еврей». Прокурор спросил: «Вы сказали еврей, тогда как по паспорту вы русский. Как это объяснить?» *Я* : «Меня спросили о национальности, а не о записи в паспорте»). Надеюсь, вы не собираетесь превращать скамью подсудимых в пропагандистскую трибуну.

Я : — Начнем с того, что это мне не удастся, если бы я и вознамерился...

Лурьи : — Вот именно.

Я : — Но я этого и не собираюсь делать — возраст не тот, иллюзий нема.

Лурьи : — Ну и слава Богу.

Я : — Однако взгляды свои я выскажу — насколько это окажется возможным.

Лурьи : — Зачем вам соваться со своими взглядами? Спросят — куда еще ни шло... Да и то — помягче формулируйте, раз уж вы так носитесь с ними.

Я : — Я с ними вовсе не ношусь, но не вижу необходимости скрывать их в данной ситуации. Хотя и постараюсь не зарываться.

Лурьи : — Вот-вот. Помните притчу о метании бисера? Главное — спокойствие.

Я : — Вы, Юрий Иосифович, по-моему, весьма приблизительно представляете себе состояние подсудимого. Я же не хладнокровный злодей, старающийся отвертеться от наказания. И более того — хладнокровие меня никогда не прельщало как качество, каким я хотел бы обладать. Меня, представьте себе, иной раз душит пафос негодования... — Тут уж никакие призывы к спокойствию не помогают. Я согласен, что моя неприязнь к советизированному византизму носит отчасти паранойяльный характер, но это в первую очередь именно из-за вечного сокрытия своих взглядов.

Лурьи : — Я предлагаю вам компромисс... Я настаиваю на том, чтобы вы каялись и плакали. Но вот вам трезвый взгляд на положение вещей : сегодня ведь не последний день, чтобы терять голову; нынешний суд это тактический бой — его надо выиграть с минимальными потерями, сохранив силы на будущее.

Я : — Нет, это уже целая стратегия, а не тактика. Сколько раз я уже шел на компромиссы из-за таких вот соображений! И всегда проигрывал... себя.

Лурьи : — Ну, дело ваше.

Вечером. Лурьи : — Завтра ваш черед. Прошу о максимуме сдержанности.

Я: — Боюсь, это мне не удастся. Да и не для чего.

Лурьи: — Думаете, вам обязательно 15 дадут?

Я: — Ни тени сомнения. Так что вы особенно-то не распинайтесь.

Лурьи: — Может, удастся хоть годик выцарапать. — Дальше ничего интересного, под конец о Соловьеве и Каренине — это я уже записал выше. Вот-вот за мной придут.

Вечером 16. 12. Еще утром было мелькнуло оставить тетрадь с моей «речью» в камере и отказаться в суде от всяких объяснений, ограничившись заявлением, что считаю квалификацию совершенного мною правонарушения по ст. 64 преднамеренно противоправной. Привожу диалог с Лурьи, до и после моего ораторства.

До. Лурьи: — Так вы будете по написанному говорить? Я вижу у вас тетрадь...

Я: — Единственный способ не зарваться.

Лурьи: — Это дело.

После. Лурьи: — Вы меня зарезали! Что мне теперь говорить?

Я: — Весьма сожалею. Лучше бы вообще молчать — и не мне только, а всем нам... раз уж так нагло затыкают рот.

Лурьи: — Говорить — да не так!

Я: — Иначе не умею. Уверяю вас, мне теперь стыдно за всю эту беллетристику. Кому и для чего? Разрываться между запи-

санними на листах куцыми мыслями, болезненным пониманием ненужности всякого говорения здесь и окриками судьи... чего для? Кому впервой, тому простительна надежда на то, что вот сейчас им выговорится некое слово — и все повернется иначе. Нужно было поступить так же, как в начале следствия: «Все равно вы дадите мне на всю катушку, поэтому обходитесь как-нибудь без меня».

Хотел было фиксировать все стадии процесса, но нет ни времени, ни сил. Думаю позже описать его целиком. Тетрадь с «речью» у меня отобрали для передачи в суд, как сообщил ст. лейтенант Веселов. Таким образом, то, что мне не удалось выговорить публично, станет известно суду. Изя, как и Сильва, пытается разделить со мной ответственность, взваливая на себя часть моих грехов. Когда меня спросили, чем собирался заниматься за границей Федоров, я, пытаюсь толкнуть его в нужную сторону, сказал, что он хотел добиваться разрешения на выезд для своей жены (он, кстати, сам говорил мне об этом). Но он этой темы не подхватил. Разве что его адвокат воспользуется этим намеком позже.

17. 12. Опять встал до подъема, исходил километров 5 уже... Боже мой, как стыдно за вчерашние препирательства с прокуро-

ром! Свяжешься с дураком, сам поглупеешь. Один спор о вертолетах-самолетах чего стоит? Попробую воспроизвести препирательства мои с Соловьевым. (Да, мне удалось из написанного мною сказать почти все, хотя Ермаков добрый десяток раз пытался остановить меня. Только после первого его окрика: «Мы знаем, как и за что судят на Западе! Переходите к фактам!», — я смутился и перескочил через страницу — где как раз о Нюрнбергском процессе, а потом, выслушав очередное требование «фактов», я более или менее хладнокровно — хотя и скороговоркой: о, это ужасное ожидание, что вот-вот тебя прервут! — продолжал выговаривать свое).

Прокурор: — Вот вы, Кузнецов, сказали, что ваша мать заставила вас записаться русским. Как это заставила?

Я: — Я не употреблял такого слова. Я сказал: настояла.

Прокурор: — Ну настояла — все равно.

Я: — Не думаю.

Прокурор: — В своей длинной речи вы не раз ссылались на законы. Вы юрист?

Я: — Нет.

Прокурор: — А скажите, что из юридической литературы вы читали, скажем, в последний раз?

Я: — Какое это имеет значение? Я же не юрист.

Прокурор : — Ну а все-таки — последняя вами прочитанная юридическая книга ?

Я : — Что же... Я прошу у суда разрешения не просто назвать такую книгу, но и вкратце изложить содержание пары ее абзацев...

Прокурор : — Зачем же ? Просто назовите.

Я : — Это имеет отношение к данному процессу, и потому я хотел бы в двух словах...

Прокурор : — Название, название !

Я : — Хорошо. « Нюрнбергский процесс над нацистскими судьями ». По поводу аналогичных процессов там говорится...

Прокурор : — Достаточно ! Ясно, о чем там говорится, мы сами можем прочитать. Я просил только название — вы сказали... И хорошо. Мы видим, что вы знакомы с юридической литературой. Вы вот тут все жаловались на то, что вас преследовали, не давали вам, так сказать, жить после освобождения. А как же вы думаете ? Вы, — почти скандируя выговорил он, — совершили тяжкое государственное преступление, и хотите, чтобы вас сразу приняли в наш советский коллектив ? Нет и нет ! Да как же за вами не следить ? — вон вы на что руку подняли !

Я : — Не надо менять местами причины и следствия !

Прокурор : — Вы — советский гражданин

и на вас распространяется советская юрисдикция : совершили преступление — извольте отвечать.

Я : — Только соразмерно содеянному !

Прокурор : — Если бы вы исправились, отбывая наказание... Но ведь вот какую характеристику дала вам лагерная администрация : « За время пребывания в ИТУ Кузнецов проявил себя с отрицательной стороны, зарекомендовал себя матерым антисоветчиком. На меры воспитательного воздействия реагировал враждебно, политзанятий не посещал, на беседах с работниками лагеря вел себя высокомерно. Неоднократно водворялся в штрафной изолятор, а в 67 г. был отправлен в тюрьму за отказ от работы. Избивал заключенных, ставших на путь исправления, оскорблял работников санчасти... ». Вот как ! Это верно о вас написано ?

Я : — Приблизительно. Во всяком случае об оскорблении работников санчасти не может быть и речи — никогда к ним не обращался.

Прокурор : — За что вас отправили в тюрьму ?

Я : — За отказ от работы. Там же написано...

Прокурор : — Значит, вы не хотели работать ?

Я : — Я просто хотел поехать в тюрьму.

Прокурор : — Чтобы только не работать ?

Я: — Да. Как ранее меня Мурженко и Федоров, я предпочел тюрьму, лишь бы иметь хоть сколько-то времени для книг.

Прокурор: — Ах, вот как! И вы говорите, что исправились!

Я: — (возмущенно): Я этого никогда не говорил! Мне незачем исправляться — в вашем понимании, разумеется.

Прокурор: — Так правильно вас судили в 62 г., или нет? Как советского гражданина, совершившего тяжкое преступление, особо опасное государственное преступление! Да или нет?

Я (тихо): — Нет.

Прокурор: — Значит, — да!

Я: — Нет.

Прокурор: — Что же, и то хорошо, что признаете...

Я (повысив голос почти до крика): Я сказал *нет!*

Прокурор: — Ах, нет? Так вы так и говорите. Оказавшись в Швеции, вы собирались выступить на пресс-конференции, как показал Бутман во время предварительного следствия. Правильно он показал?

Я: — Я не помню таких показаний. Их просто нет. Поведение за границей нами не обговаривалось.

Прокурор: — Однако вы ведь не отрицаете, что у вас антисоветские взгляды?

Я: — Свои взгляды я изложил. Можете

считать их антисоветскими, хотя сам я их квалифицирую иначе.

Прокурор : — Во время следствия вы заявили, что не считаете себя советским гражданином. Так это ?

Я : — Я сказал, что являюсь советским гражданином лишь формально.

Прокурор : — Вам приходилось читать сионистскую литературу ?

Я : — В вашем понимании сионизма — нет.

Прокурор : — Существует только одно понимание сионизма — марксистско-ленинское.

Я : — Слышали уже — всемирная власть, орудие империализма... Вы делаете из сионизма жупел, которым пугаете московских купчих всех гильдий.

Прокурор : — Оставим это. Так. Говоря о захвате самолета, вы сравнили его с угоном машины. Машина — это не самолет. Машину можно перегнать с одной улицы на другую, а на самолете ведь с улицы на улицу не перелетишь.

Я (после долгого оторопелого молчания) : — Почему? Можно... На вертолете, например.

Прокурор : — На вертолете, но не самолете !

Я : — А вертолет — это что ?

Прокурор : — Не самолет... Вы лично изготовили дубинки и кастет ?

Я : — Да.

Прокурор : — Один ?

Я : — Один.

Прокурор : — Залмансон Сильва, скажите, вы помогали Кузнецову изготавливать кастет ?

Сильва : — Да.

Прокурор : — Так как же, Кузнецов ?

Я : — Она просто присутствовала. Если это называется помощью ?... Я делал кастет сам, один.

Прокурор : — А дубинки ?

Я : — Тоже один.

Прокурор : — Залмансон Израиль, скажите, кто делал дубинки ?

Изя : — Я, а Эдик мне только помогал.

Прокурор : — Так ! А для какой цели вы их, Кузнецов, изготовили ?

Я : — Это не очень просто для однозначного ответа... Попробую объяснить. Дело в том, что замысел побега родился без меня, без меня обсуждались и детали подготовки к 1-му варианту — во всяком случае на первых стадиях обсуждения. Посвятив меня в подробности этого плана, мне сказали, что в качестве орудий нападения могут быть использованы дубинки. До реализации нашего замысла было еще далековато. Дубинки — мелочь, но и за нее нужно кому-то и как-то взяться. Были сделаны определенные шаги — достать ведь нужный материал не просто, — а изготовление дубинок — не более

как завершение раз начатого дела, уже, явно и ненужного, но тяготеющего к завершению само по себе. Кастет родился иначе — как результат спора между мной и Израилем: он настаивал на невозможности его ручного изготовления — я доказал ему наглядно.

Прокурор: — Значит, вы не собирались использовать его при разбойном нападении на пилотов?

Я: — Пока его не было, — не собирались, но когда он появился... Есть ведь соблазн оружия. Поскольку я обязался напасть на 1-го пилота, я решил иметь при себе кастет. Хотя я должен был просто схватить пилота за шиворот и втащить его в самолет, где мне помогли бы связать его, я решил на всякий случай прихватить с собой кастет.

Прокурор: — Изготовить кастет, взять его с собой, но никого им не бить, так?

Я: — Именно. Характерно, что вопрос о типе обращения с экипажем волновал нас на всех стадиях подготовки к захвату самолета. Еще в марте, во время обсуждения так называемого 1-го варианта было решено, что в идеале следует стремиться к тому, чтобы на пилотах не было и царапины. (Возмущенное шевеление и иронические возгласы в рядах спецпублики). Разумеется, не столько вследствие неприятия жестокости, сколько из нежелания быть причисленными к уголовным преступникам и намерения лишить со-

ветское правительство одного из наиболее веских оснований для требования вернуть нас в СССР. Что именно таковой была наша установка, говорит и мое намерение отобрать у пилотов документы на случай, если бы советскими органами (в обоснование уголовного характера нашего деяния) было заявлено, что мы убили пилотов. Такое ведь не исключено... Тогда документы пригодились бы для опознания личностей...

Прокурор : — Вы смастерили кастет, должны были, по вашим словам, применить его во время разбойного нападения на советских пилотов, а оказался он при аресте у Израиля Залмансона. Как же это ?

Я : — Я почти на сутки раньше Израиля выехал из Риги. Спешка сборов и практическая ненужность кастета привели к тому, что я забыл его дома. Израиль наткнулся на него случайно и захватил с собой в Ленинград, чтобы передать мне, но оба мы, очевидно, не отводили кастету никакой роли в предстоящих действиях : я забыл его в Риге, а он забыл передать его мне.

Прокурор : — Залмансон Израиль, скажите, кто должен был с кастетом в руке напасть на первого пилота ?

Изя : — Я.

Прокурор : — Та-ак ! Кузнецов, как вы изготовили книгу Шуба « Политические деятели России » и для какой цели ?

Я : — Отпечатал с фото пленки.

Прокурор : — А кто вам дал эту фото пленку и кому вы потом отдали и ее и книгу ?

Я : — Здесь не кабинет следователя, и на этот вопрос я отказываюсь отвечать.

Прокурор : — Вы с кем печатали эту клеветническую книгу ?

Я : — Ни с кем — один.

Прокурор : — Залмансон Сильва, вы помогали Кузнецову ?

Сильва : — Да, помогала.

Прокурор : — Так как же, Кузнецов, один вы ее печатали или вам все-таки помогали ?

Я : — Сильва одновременно со мной проявляла какие-то свои фотографии. Я не прятал от нее плоды своих трудов и, возможно, она прочитала несколько страниц — в чем я не уверен. Но в том, что я печатал без ее помощи, в этом я уверен полностью.

Прокурор : — Когда вы предложили Федорову участвовать в разбойном нападении на советский самолет, вы сообщили ему, кто именно входит в состав преступной группы ? Я имею в виду национальность ваших сообщников.

Я : — Да.

Прокурор : — И как он к этому отнесся ?

Я : — Нормально... Как это свойственно ему.

Русалинов (народный заседатель) : — По-

чему вы, приезжая в Ленинград и в Москву, всегда возили с собой всякую антисоветчину?

Я: — Какую, например?

Русалинов: — Ну вот Солженицына...

Я: — Вы большой католик... Солженицын — это, как известно, не антисоветчина, а литература, «нерекомендованная для чтения». (Там пошла и вообще ерунда — жаль времени, потому опускаю вплоть до Топорова, адвоката Федорова).

Топорова: — Вы давно знаете Федорова, и где вы с ним познакомились?

Я: — И с ним, и с Мурженко я познакомился в 62 г. в 7 лагерной зоне в Мордовии.

Топорова: — Во время предварительного следствия вы заявили, что Федоров отказался участвовать в побеге за границу, и вы при помощи шантажа, психической обработки вынудили его согласиться. Расскажите об этом.

Я: — Отлично зная Федорова, я использовал некоторые особенности его психики. — Обнажать здесь механизм этого воздействия я не считаю возможным.

Топорова: — Расскажите подробнее об особенностях психики Федорова.

Я: — У него нередко стрессовые состояния. Уверенность, что его преследуют, достигала интенсивности маниакальной идеи, о чем знают все его близкие. Я знаю, что

долгое время он действительно был объектом слежки со стороны КГБ, и именно это положило основание тому состоянию, которое я считаю бредом преследования.

Топорова : — На предварительном следствии вы сказали, что Федоров собирался в Швеции просить политическое убежище, а при выполнении ст. 201 (УПК) отказались от этого утверждения. Как было на самом деле?

Я : — О каких-либо действиях за рубежом мы вообще не говорили. Я вкладывал в понятие просьбы о предоставлении политического убежища не специальный юридический смысл, который, как я позже убедился, софистически обыгрывался следователями, а рассматривал эту просьбу об убежище как некое ритуальное действие всякого не совсем легально попавшего за границу человека, желающего стать лицом, неподлежащим выдаче государству-владельцу. Я не догадался, что мои слова (а сказал я так : « Я намерен был поступить в соответствии с обстоятельствами. Может, попросил бы и политическое убежище ») будут истолкованы как доказательство планируемых враждебных действий по отношению к СССР. Не считая, что просьба об убежище — а право на нее дается хотя бы ст. 15 Декларации прав человека — враждебный советскому государству акт, я на вопрос о намерениях Федорова легко-

мысленно заявил, что и он, возможно, попросил бы политическое убежище, если бы того потребовала ситуация. При закрытии дела я понял двусмысленность игры следствия с этим понятием и уточнил, что, собственно говоря, Федоров никогда не сообщал мне о своих предполагаемых действиях за рубежом, хотя он делился со мной соображениями о шагах, которые ему надо будет предпринять, чтобы добиться разрешения на выезд для своей жены.

Прокурор: — А как же вы, зная о психической болезни Федорова, хотели принудить его к побегу за границу, в чужие места, далеко от родных и близких?

Я: — Знания мои в области психиатрии не велики, однако мне известно, что перемена места жительства зачастую благотворно действует на психику.

Остальное как-нибудь потом — уже 8 часов...

Вечером. Завершился опрос подсудимых, принялись за свидетелей. Дымщиц упорно тащит Бутмана в соучастники. Не понимаю. Похоже на издержки прямолинейной честности: он говорит правду без всяких подмалевок, нелицеприятствуя, не выбирая выражений — касается ли это поделщиков или советской власти. Но, право же, шемякин суд не то место, где правдивость всегда

моральна, где можно сводить счета — личные они или иные.

Сильва, похоже, больна. Никак не удастся переговорить с нею. Нас рассадили в продуманном порядке, так что общение предельно затруднено — на каждого из нас по конвойному, сторожащему всякое движение глаз. Вчера мне то и дело улыбались из зала Люся и Бэла. Сегодня Бэла укатила в Москву — будет только на приговоре теперь.

Утром подлетел сияющий Лурьи. «Спешу порадовать! Вы так стремительно говорили, что секретарь не успел записать и половины вашего выступления».

Я: — Увы, тетрадь у меня изъяли и передали в суд...

Мы с Аликом пытаемся подать некоторые чудачества Юрки как такие свойства психики, которые связаны с ограниченной вместимостью, однако наши попытки затолкать его в больницу, избавив от лагеря, слишком неуклюжи и банальны, чтобы оказаться успешными. А главное, они, по-видимому, противоречат намерениям КГБ — в ином случае даже намек на психопатию бывает достаточно. Но почему сам он не хочет нам подыграть? Боязнь ярлыка «психически ненормален»? На него это не похоже. И прежде некоторые странности его поведения давали повод здравому смыслу, проводящим слишком близко от себя черту, за которой

начинается безумие, считать его не вполне нормальным. Он относился к этому со спокойным пренебрежением. Или он решил, что искать снисхождения суда — да еще таким путем — унизительно? Боюсь, он получит наравне со мной.

18. 12. Выступления свидетелей порой были прекомичными. А над словами Пелагеи Степановны, Юркиной матушки, я смеялся, чуть не плача, — столь простодушны были ее слова и столь печально ее лицо. «Он мне все твердил, что за ним следят. Да плюнь ты на них, сыночек, говорю — подумаешь, что следят? А за кем не следят? За мною всю жизнь следят, а я — ничего... Ну все-таки пошла я на Лубянку. Принял меня какой-то офицер. Я говорю: перестаньте преследовать моего сына, он никакой не враг вовсе...»

Прокурор: — А почему вы пошли именно на Лубянку, а не куда-нибудь еще? Почему вы решили, что за вашим сыном следит именно КГБ?

Она: — А кто же еще? Что уж я глупая что ли совсем?!

До понедельника нам дали перекур.

Лурьи: — Сейчас начнется дополнительный опрос. Может вы решитесь на осуждение такого способа репатриации?

Я: — Ни-ни. Могу сообщить только, что

сожалею о случившемся, но боюсь, что это прозвучит весьма двусмысленно.

Лурьи : — Я хочу высказать сомнение относительно заключения экспертизы о кастете как об оружии ударно-раздробляющем — он ведь обмотан толстым слоем резины.

Я : — Вы обратили внимание, что майор Ревалд, давая первое описание кастета, записал : « ударно-оглушающее оружие », а потом... Но все это неважно. Вы, Юрий Иосифович, в результате, извините меня, понимания своего бессилия что ли — в такого рода делах... Вы, да и не только вы только лично, а вся защита, как-то ориентированы на суд присяжных, на какое-то книжное представление о политических процессах...

Лурьи : — Вы думаете, это первый мой такой процесс ?

Я : — Я знаю, но все равно... Только вашим пониманием невозможности завопить о главном я объясняю всю эту возню с мелочами, все эти нюансы, психологизмы — кому они нужны, если главное замалчивается ?

Лурьи : — Какое главное ?

Я : — Что человек имеет право жить в том государстве, которое соответствует его взглядам, вкусам и чему там еще... Иначе он раб. Что преступники это те, кто препятствует свободному выезду, тем провоцируя преступления, подобные нашему. Что пора

поосновательней расстаться с привычками тех времен, когда сажали за высказанное вслух предположение, что в США рабочий получает больше советского. Знаете такое лагерное присловье? Сижу, говорит, за антисоветскую агитацию — обозвал колхозную корову блядью.

Лурьи: — Мелочи тоже нельзя упускать из виду. Времена, глядишь, переменятся, климат помягчает — может, пересмотр дела назначат. Тогда всякое лыко в строку пойдет.

Когда дело дошло до Сильвы, Лурьи спросил ее, высказывал ли я в ее присутствии антисоветские взгляды. Она говорит — нет. Прокурор возмутился этим «нет», указав на противоречие его прежнему «да» — в ходе следствия. И Сильва совершенно правдиво (в смысле описания одной из чекистских уловок), хотя — для спецпублики — и неубедительно, рассказала, как у нее вырвали это «да». Привожу ее слова по памяти. «Я все время говорила, что никогда не слышала от него антисоветских высказываний. Тогда следователь сообщил мне, что Эдуард давно во всем признался, в том числе и в антисоветских убеждениях, которые он высказывал налево и направо. И все якобы подтвердили, что он делился с ними своими взглядами. Выходит, дескать, он только тебе, своей жене, не доверял. Мне

не хотелось создавать впечатление, что он, посвящая всех во что-то, мне этого не открывал, и я сказала, что знаю о его убеждениях антисоветского характера, что он высказывал их мне. На самом же деле это не так».

19. 12. Суд — выматывающая штука. Полдня проспал и еще хочется. В понедельник прокурор ляпнет речь.

Где-то в самом конце февраля или в начале марта... хотя нет, именно в феврале — я ведь тогда еще не работал, хотел месяца 2-3 побездельничать, чтобы потом при подаче документов в ОВИР обойтись без производственной характеристики. Но уже через пару недель сладкой жизни меня вызвали в милицию и приказали в течение 5 дней устроиться на работу, а то, говорят, вновь поставим тебя под административный надзор и трудоустроим в принудительном порядке. Так значит, где-то в самом конце февраля прихожу я домой — Сильва знакомит меня с Бутманом. Этаким небольшого роста, крепко сложен и подчеркнута энергичен. Старше меня лет на 5-7, месяца 2 подряд я вообще начисто отрицал, что знаю его, не слышал, мол, о таком и все, а когда окончательно убедился, что он дает показания, да еще так называемые правдивые, — выгораживал его, что было сил. А как они принимают к каждому неосторожному слову, ко всякой

гримасе, вздоху, даже умолчание им сигнал... Раздразнить, поколебать равновесие, довести до бешенства, отчаяния... Упаси тебя Боже, если ты раб какого-нибудь тайного порока, если ребро твое с изъяном — уж они тебя за него подцепят... Прямо распирало от досады, когда читал показания всех этих «комитетчиков». «Кто их за хвост тянет — такое рассказывать». Это, конечно, верно, но и кричать об этом в кабинете следователя — не верх мудрости.

Мы с ним поехали тогда в Румбулу, к скромному камню на месте расстрела тысяч евреев. По лесу, меж по-весеннему сероватых сугробов — к той последней поляне. Поступь ли наша была страдальчески тиха, вожделение ли их оглушило — они не сразу нас заметили, белобрысые, ражие. Потом она тихо ойкнула, разогнулась и отпрянула одергивая сзади пальто. «Нашли место для козлячьих игр!» — вырвалось у меня, но они уже торопливо удалялись, увязая по колено в снегу. Эта сценка мне надолго вроде символа.

На обратном пути Бутман слишком часто оглядывался, чтобы все его вопросы о жизни-бытье можно было принять за обычную трепотню — мне было ясно, что он к чему-то клонит. «Как у тебя с шансами на выезд?» — спросил он наконец. «Пока никаких, — говорю. — И похоже, что надолго. Если...»

« Что ? » — нетерпеливо повернулся он ко мне. « Если не будет хорошей встряски, приличного скандала, который им не удастся замять. Пока каждый из нас думает только о себе — лишь бы ему вырваться отсюда, — толку мало. Не вопрос о выезде отдельных лиц, а проблема беспрепятственной эмиграции для всех желающих уехать должна нас волновать. Только на этом пути можно чего-то добиться, а не слезливыми посланиями в Кремль и в ООН... Это если говорить о тебе, обо мне, о всех нас вместе. Но мы сидим по углам и действуем в одиночку. Что касается лично меня, то я отсюда выберусь. Во всяком случае так мне мнится ». « Сначала давай потолкуем о всех желающих. Что именно мог бы ты предложить ? » « Видишь ли, конкретно я пока вряд ли что смогу тебе сказать : в Риге я недавно, ни людей, ни здешней ситуации толком не знаю. Говоря о скандале, я ни в коем случае не подразумеваю искусственную сконструированность его, спровоцированность. Тут все должно быть чисто. Схематически обстановка мне рисуется следующим образом. У многих раздражение на грани взрыва — немотивированные, часто издевательские по смыслу отказы, годы жизни на чемоданах в ожидании милости, отсюда и личная, и профессиональная, и квартирная, и прочие неурядицы и т. д., о чем сам отлично знаешь. Легко себе пред-

ставить, что не сегодня-завтра какая-то группа людей, объединенных отчаяньем, решится на тот или иной экстраординарный шаг. Сами они при этом могут пострадать и очень даже, но для многих других пробьют солидную брешь в китайской стене. Благо-разумие битого (того, за которого 2-х небитых дают) подсказывает мне: «жди, жди, жди, и ты окажешься там без особых усилий». Но совесть дополняет: «по чужим костям», — а темперамент, с одной стороны, презирает ожидание, а с другой, объединившись с совестью и нетерпением, понуждает к участию во всем, во всех стадиях пути к цели». «Ну, а все-таки? Конкретно?» «А черт его знает! Ну, можно, на приклад, сколотить группу человек из 30-40 и объявить голодовку, требуя, чтобы статьи 13 и 15 «Всеобщей Декларации прав человека» перестали быть пустым звуком. Только чтобы не дешевить, не для нагуливания аппетита перед обедом, не как те, для кого день не поест — событие, а как голодают в тюрьме — этак с годик, если понадобится». «Год?» — подозрительно посмотрел он на меня. «Ну да. Разумеется, будут насильно кормить...» «Ну, а еще что можно?» — спросил он, не дослушав моих объяснений. «Можно, например, в знак протеста сжечь на Красной площади свою горячо любимую тещу». «А серьезно?» — отсмеявшись

спросил он. « К серьезному разговору на эту тему я еще не готов. Если говорить только обо мне, то я набираюсь злости и, когда почувствую, что заряжен ею до предела, выкину какое-нибудь коленце ». « Говори потише, — попросил он меня. — А как ты, — почти прошептал он, — смотришь на побег? » « С точки зрения шансов на личную удачу — это гиль, — авторитетничал я. — Но в более глубоком плане это кое-что ». « А если не гиль? » « Тогда это будет уникальнейшим случаем совпадения личных и общественных интересов ». « Конечно, не без риска... ». « Понятно, — согласился я. — Только мне играть втемную не по нраву. Степень риска я хотел бы определить сам ». « Пойдем вон в тот скверик, — предложил он, — там спокойнее ». « Так вот, — начал он, когда мы кое-как примостились на краю мокрой скамейки, — я, признаться, кое-что разузнал о тебе и в Ленинграде и здесь, в Риге. Буду говорить напрямик. У нас есть опытный летчик. Дело за людьми. Надо укомплектовать группу... ». « Группа — это сколько? 2 или 20 » « Человек 50 », — горделиво усмехнулся он. « Что такое? — удивился я. — Ведь это не на какую-нибудь голодовку... Ты же говорил, что есть шансы на успех для самих участников дела... Так я понял, во всяком случае ». « За людей я ручаюсь », — почти обиделся Бутман. « В

каком смысле?» «Что доносчиков среди них нет». «Это еще полдела».

Так мы с ним проговорили еще добрых часа 2, пока не продрогли вконец.

В принципе я принял предложение Бутмана участвовать в побеге, хотя и не верил, что дело действительно дойдет до его осуществления. «Сбушай, — горячечно насел я на него под занавес, — дай мне возможность поговорить с каждым из участников уже сейчас, в начале, пока не поздно. Если я говорю, что в сию минуту ручаюсь лишь за пару людей, то это значит, что им можно действительно верить. Тут каждого надо взять за пуговицу, уволочь в угол и пробиться через его самолюбие, расшевелить его, зацепить за живое, заставить по-настоящему почувствовать, что от его умения молчать зависит судьба десятков людей. Ты пойми, не намеренного предательства я боюсь, хотя и его не надо сбрасывать со счетов... Ведь если даже накануне побега кто-то, без конца проигрывая в воображении завтрашние свои подвиги, примеривая к себе то гроб, то победное сияние, напыщенный и чувствительный получит щелчок от своей секспартнерши, он может глубоко оскорбиться: «Ах, ты так? А я-то! Ну ничего, завтра узнаешь, да поздно будет!» И этого может оказаться достаточным и для провала. Или ты не знаешь этой страны? Надо до тех пор говорить

с каждым, пока у него не дрогнет что-то в глазах — значит пробило ».

Бутман клялся, что за его людей можно не беспокоиться.

Я считал, что для нас, живущих в стране тотальной слежки, основная опасность провала — возможная утечка информации. Тем более, что многие из нас уже успели заявить о себе в той или иной сфере деятельности, контролируемой КГБ.

На одном из расширенных совещаний в Ленинграде — Бутман, Дымшиц, Коренблит и я — я опять пытался привлечь внимание моих теперешних поделльников к вопросу о необходимости выработки профессионального подхода к проблеме секретности. « Парни, — сказал я им, — давайте поменьше о том как нас могут сбить в воздухе и кто на кого нападает. Если мы завалимся то на аэродроме, а не в самолете. Поэтому все усилия на работу с нашими людьми — а потом уже все остальное ».

Но мало сказать (да и кто же возражал?), надо еще суметь преодолеть инерцию ковбойского мышления. Вот на это-то меня и не хватило и оправданий тут никаких. Именно мне. Потому что только я по-настоящему понимал, откуда возможен удар. (Я не знаю ни одного дела хотя бы с пятью участниками, чтобы оно обошлось без доносчика. У нас доносчиков не было. Это предмет моей

гордости ныне...) Смешно сказать, но спроси меня кто-то, перед кем не очень стыдно за собственную глупость, — как бы ты, дескать, переиграл всю эту историю заново? — я бы ответил: «Обеспечьте мне три условия: 1) Еще никто ничего не знает о побеге, кроме летчика; 2) освободите меня на годик от необходимости каждодневно строить коммунизм и 3) снабдите некоторой толикой денег — ради свободы передвижений».

1-го мая, когда Бутман сказал, что ни он, ни кто-либо из его людей в побеге участия не примут, я опять пристал к нему, чтобы он — независимо от того, откажемся мы с Дымшицем от побега или нет — заткнул глотки своим ребятам. Если прежде, втолковывал я ему, когда дело шло о них самих, их сдерживало опасение за себя, то теперь, когда они в стороне, почему бы и не похвастаться где-то за углом? Бутман сказал, что никто, кроме самого «Комитета» ничего не знает, а за серьезность «комитетчиков» он — голову на отруб.

Дымшицу в тот же день, под вечер, я предложил: «Давай-ка отложим все это на годик. Пусть все утихнет и забудется. Освободим одного из нас от производственных уз, обеспечим ему жизненный минимум и свободу передвижений, а через год спросим с него идеальный вариант побега и дюжину парней, в длинном списке достоинств кото-

рых на первом месте стоит умение молчать. Когда он ответил: « Или сейчас или никогда », — я усомнился в качественности его решимости, под каковой я подразумеваю решимость, выношенную годами, такую, что не распустится в укусе времени и благополучия. Я заподозрил, что его решимость несколько истероидного свойства — судорожное хватание за единственный шанс разделаться разом с бедами, вдруг наседающими со всех сторон. И опять уступил. Уступил, хотя каждому говорил, что надо иметь мужество отказаться от побега, если явно запахнет провалом, уступил, потому что уже был захвачен инерцией дела, потому что уже потрачено столько сил и жалко, если это окажется никчемной тратой; уступил, так как в значительной степени стал рабом нетерпения тех ребят, от имени которых я вел переговоры. Был некто, через кого я черпал сведения о Бутмане и его окружении. Его я счел возможным и нужным посвятить в наши планы — сначала как возможного соучастника, а потом, когда он отказался от побега, как советчика. 14 июня, накануне дня икс, он, прощаясь со мной, спросил: « Ну и как ты думаешь? » « Повежут на аэродроме ». « Так еще не поздно отказаться! » « Для меня поздно, а остальным я скажу об этом сегодня. Они могут дешево отделаться ». Вечером в лесу возле

аэропорта « Смольное » я сказал, что за нами слежка. Это ты нервничаешь, говорят. Я понял, что все они чувствуют обреченность операции, но не хотят признаться в этом ни себе, ни друг другу. Это любопытное состояние, и когда-нибудь я попытаюсь разобраться в нем.

Еще когда мы втроем — Сильва, Борис и я — ехали поездом « Рига-Ленинград », Борис сказал мне доверительно: « Теперь хоть в петлю, лишь бы не возвращаться ». Так же были настроены все. Такова сила житейских мелочей, банальных неприятностей — не говоря о крупных, — что надежда сегодня, сейчас одним рывком разорвать их липкую паутину гипнотически притягательна — будь что будет, ибо и самое страшное всего лишь проблематично, тогда как насущный хлеб повседневного зла, сколь бы ни было оно незначительно с виду, стоит в горле комом. Определенному типу характеров тяжело променять первородство мужественного образа жизни — со всей тяжестью расплаты за него — на чечевичную похлебку смиренного ожидания подачи, которой к тому же и нет надежды дожидаться. Общее настроение подытожил Бодня: « Посадят — тем вернее потом выпустят в Израиль ». Один сбежал с институтских экзаменов, другой из воинской части, третий порвал с любовницей, тот уже отправил по почте прощальное письмо же-

не... Вернуться? Если завтра в полдень — пусть чудом! — можно оказаться в Швеции? Вернуться к прежнему? Да еще так осложненному, к прежнему, с которым наконец-то порвал все связи? Слежка — ведь дело обыденное: может, они не знают о нашем замысле, доследят до аэродрома, мы сядем в самолет — и они останутся с носом...

Более всего меня мучила мысль о жене и ее отце, но... но эта тема бесконечна — постараюсь вернуться к ней как-нибудь позже, когда будет посвободнее со временем.

Перечитал написанное. Впечатление, что я выгораживаю себя, обвиняя в промахах только Дымшица и Бутмана. Это не верно. Если они не были достаточно внимательны к моим предложениям, то и я ведь не все, сказанное ими, принимал к сведению. Главная и вечная наша беда — дилетантизм и инфантильная недооценка мощи полицейского аппарата любезного нашего отечества.

Алика не менее энергично, чем меня, теснили после освобождения. Интересно, вполне ли сознательно тиранят они бывших заключенных? Или это запрограммированное бездушие раз заведенной хитроумной машины, не умеющей предвидеть побочные эффекты своих действий? Я не о ворах и хулиганах — имя им легион, они мгновенно вливаются в толпу у заводской проходной, мало чем отличаясь от нее по сути. Опекают их весьма

приблизительно. Я о тех, кто в той или иной форме усомнился в абсолютной благодати Старшего брата и не предал под развесистым каштаном ни себя, ни друзей. В лагере работа над строптивым зеком сводится преимущественно к применению двух силовых приемов: урезанию пайка и карцеру, на воле точек опоры для рычагов многообразного преследования куда как больше: прописка, жилье, работа, семья, соседи, знакомые... В лагере человек или выдерживает, поставив крест на досрочном освобождении ценой сотрудничества с голубыми ребятами, или ломается; на воле он или сникает или его опять сажают. Стоит тебе пару раз встретиться с какой-нибудь девицей, как ее вызывают в КГБ, спрашивают, инструктируют... В конце концов ты шарахаешься от всех, подорзевая, мучаешься огульности этих подозрений, не желаешь играть в навязанную тебе игру и все же играешь в нее поневоле... Будь ты и в самом деле лицом значительным, носителем реальной опасности для государства, спецотношение к тебе — одно из условий твоей роли, но если ты только хочешь, чтобы тебя оставили в покое, то скоро, очень скоро так начинаешь тяготиться чекистской опекой, что совершенно искренно говоришь: «А ведь в лагере-то было легче». На воле человек не ломается, а сникает или вновь садится, если осмелива-

ется высказывать свои взгляды столь же прямо, как привык это делать в лагере. О, в России тоже есть свой Гайд-парк — в Мордовии; там, за проволокой, ты можешь говорить, что угодно — от силы дадут 15 суток карцера или год одиночки или парутройку лет тюрьмы. Это и есть социалистическая демократия: ты свободен и можешь говорить, что угодно, но и они ведь свободны — и могут сажать тебя. Если тебя занесли в списки противников режима, то не «исправить» тебя пытаются, а убить в тебе личность — впрочем это и есть исправление, в их понимании, — им не надо, чтобы ты стал марксистом-ленинцем — нет, нет и нет! — упаси Боже от всяких подобий приверженности каким-либо принципам, не надо, чтобы ты признал, что $2 \times 2 = 5$, но $2 \times 2 =$ сколько угодно сегодня партии. И любые приемы тут хороши. Есть лагерная пословица, образно, хотя и не аппетитно, рисующая один из популярнейших методов перевоспитания инакомыслов: «Бьют пока не обделаешься, а потом — за то, что обделался».

***Юра заявил на суде, что давно вынашивал мысль о побеге из СССР. На это признание частично спровоцировал его я, не желая того, конечно. Он сделал это заявление после того, как прокурор уличил нас в «противоречии».

Прокурор: — Скажите, Кузнецов, как же

так получается? Вы заявили суду, что Федоров не хотел участвовать в преступлении и только после длительной психологической обработки он уступил вашему нажиму. А он говорит, что вы просто поставили его в известность о предстоящей измене родине и он напросился к вам в компанию. Кто же из вас говорит правду?

Я: — Федоров или забыл, как все это обстояло, или пытается меня выгородить.

Федоров: — Я ничего не забыл и полагаю, что это Кузнецов хочет меня выгородить. Я давно уже думал о побеге из СССР.

Еще и недели не прошло с того момента, как затворились за моей спиной ворота Владимирской тюрьмы, еще не спалось ночами, еще темнело в глазах от восхищения каждой мини-юбкой, еще коммунистов я называл, по-лагерному, большевичками, кэ-гэбистов — чекистами, СССР — Совдепией и, обращаясь к милиционеру, говорил: «Начальник», — еще не обращал я внимания на недоверие слушателей, когда рассказывал им о тюремной жизни, еще... Еще по ночам я вскакивал, словно ошпаренный, и строил невинную гримасу, готовясь услышать привычное: «Не спать. Днем спать запрещено», еще на каждом углу я покупал пирожки с мясом — дань недавнему голоду... Субботин Юрий, удовлетворяя любопытство новенького надзирателя, посулившего ему буханку

черного хлеба, проглотил партию домино. Потом любители «козла» побили его за то, что куда-то пропали две фишки, а остальные долго не поддавались дезодорации. Уже на третий месяц пребывания в тюрьме на строгом режиме традиционное вопрошание: «А что бы ты выбрал: кило колбасы или бабу?» не рождало споров — все были за колбасу. А когда я состриг: «Полкило и девочку», — разразился скандал, и мы постановили не упоминать о еде. Но однажды я забылся. Так тоскливо прозвучало мое восклицание: «Подумать только, в Москве чуть не каждом углу торгуют горячими пирожками с мясом!» — что эстонец по кличке Февраль заплакал. Я навсегда запомнил и это восклицание и эстонца, прозванного за слабоумие Февралем. Он часами молча стоял у кормушки. «Чего ты там стоишь? — набрасывался на него кто-нибудь из сокамерников. — Думаешь, хлеба дадут?» «А может, дадут», — покорно отвечал тот. Нас кормили на 5 рублей в месяц. Я покупал пирожки с мясом даже когда был сыт по горло. «Надо как-то отсюда сквозить», — сказал мне Юра. «Неплохо бы, — согласился я, дожевывая очередной пирожок. — Да как?» «Как попало». «Я думал, у тебя что-нибудь на примете есть». «Ничего не могу придумать, — признался он. — Разве попробовать пешком через границу?»

Я возмутился: «Что за идиотизм? Мало ты знал таких пешеходов в лагере? Мне пока и здесь не плохо». «Подожди, — угрюмо проговорил он, — через годик-другой согласен будешь на карачках ковылять из Москвы до границы. Я тоже первый месяц после Владимира был похож на блаженного идиотца...»

20. 12. Все еще слишком недавно, чтобы уверенно жонглировать фактами, отделяя главное от второстепенного, — все кажется важным. Весь спектр упований, стремлений, опасений... И ничто не хочет втискиваться в удобопроизносимые словесные формулировки, ничто не хочет жертвовать и частицей своей путаной правды, ясности словесного выражения, предпочитая остаться невнятицей странно сопряженных событий, догадок, предчувствий. Это неизбежно, если ты не владеешь истиной, а ищешь ее, перебирая в уме и то и се; так и сяк приглядываясь к утке и к соусу... Какое-то подспудное тяготение к выводам, к расстановке акцентов, к схеме — почти синониму ясности, логичности, рациональному освоению мира... Очевидно, всякая мысль тяготеет к своему пределу выразимости, но дается он лишь ценой потери некоторого качества, ценой усечения множества связей этой мысли с тем набором явлений, на выражении кото-

рых она претендует. Особенно мысль зафиксированная на бумаге, — без жестов, голосовой и мимической игры, без долгого косноязычного топтания вокруг да около, когда каждое слово приблизительно, этой самой приблизительностью намекая на некую суть, подводя к транссловесному постижению ее.

С каким недоумением Лурьи спросил меня позавчера, в обеденный перерыв: «И как это Вы, все понимая и видя?» Поддавшись на лесть, я пустился в рассуждения о так называемом «полевом зрении», переиначив это понятие на свой лад, о побеге вообще как виде инфантильного взыскания града Китежа и черт-ти знает еще о чем. Объяснил ли я хоть что-то? Вряд ли. Разве что самую малость. Я обычно горячо берусь за объяснения, но, добросовестно увязнув в деталях, очень скоро остываю, догадавшись, что объяснять надо слишком многое... А куда же денешься от нервного ожидания момента, когда тебя прервут не дослушав? — и лучше ограничиться парой банальных фраз, неуклюже перескочив к ним через все намеченные вначале психологизмы.

До чего легко быть мудрым, когда ты не у дел, а тем паче — после дел, в камере. Спроси меня года два назад: «Пошел бы ты с дюжиной парней на что-либо противозаконное?» — я бы, как и сегодня: «Нет».

Во-первых, сомнительно сострил бы, дюжина да я в придачу — чертова дюжина. Во-вторых, при таком количестве посвященных практически неизбежна утечка информации — не говоря уже о провокаторах и сексотах. А в-третьих, не только за мной, как бывшим государственным преступником, не исправившемся за семь лет заключения, будет постоянная слежка, но и за большинством из этих двенадцати. Ведь не родились же они « контрами », а стали ими. Ну, а пока доходили до кондиции, наверняка привлекли к себе внимание сначала рядовых советских граждан, а потом и дорогих органов (одно из объяснений, почему в заграничных пограничных и оккупационных войсках относительно редки случаи « измены родине »). При таком количестве участников можно рассчитывать на успех только какого-нибудь сугубо уголовного мероприятия, что, как известно, аморально. Одно дело ищущие незаконной наживы, и другое — те, поступки которых определяются соображениями, выпренно называвшимися в том столетии идейными. Если первые отчетливо сознают предосудительность своих намерений и, как правило, умеют молчать, то вторые, дожив до собственных идей и неодолимой потребности их реализации, рассматривают свои действия — чаще всего, грядущие — в качестве бескорыстно-благо-

родных с острой приправой романтической жертвенности. Срывать же свое благородство трудно. Весьма. Неравенство исходных условий еще и в том, что уголовные склонности и проявления крайне широко распространены, а занимающееся их диагностикой, профилактикой и лечением (или тем, что за такое выдается) учреждение не ахти как солидно. В КГБ дело поставлено поосновательнее.

Свое мировоззрение, оно ведь с неба не падает. А упадет — не обрадуешься. Лучше быть убийцей, вором и насильником, чем не колебаться вместе с колебаниями генеральной линии партии. Представляется чудом, если кому-то удастся дожить до мысли о необходимости самостоятельной оценки мира. Сперва обрабатывают твою подкорку, и ты пищишь что-нибудь вроде «Я маленький мальчонка, играю и пою, я Ленина не видел, но я его люблю», потом направляют твою любознательность в заранее для нее отведенный загон, огороженный от мира высоким частоколом расхожей (и время от времени перелицовываемой) марксистской мудрости и в конце концов научают благоговению перед теми или иными персонификациями абсолютной истины, справедливости и святости. Унифицированная система образования дает колоссальные возможности манипулировать умами, вырабатывать у масс

единую реакцию на события. Такое образование отнюдь не поощряет критически-творческое отношение к миру идей, оно лишь подготавливает человека к воле высококачественного перципиента — к восприятию всех видов пропаганды. Если к этому прибавить затрудненность (а давно ли и грозный запрет?) доступа к зарубежной информации, то не удивительны благодарность и удовлетворение, с каким узнаешь от ротного замполита капитана Жучкова, что «советский дурак умнее американского мудреца». Но если ты, вопреки всему, каким-то чудом взалкаешь иных истин, — берегись. Самостоятельное мировоззрение — или, для начала, выбор своей философии из числа имеющихся в мировом философском фонде — не легко дается. Его выработке сопутствуют сомнения, споры, декларации. И к тому времени, как ты созреешь для ереси, в некоем списке против твоей фамилии ставится галочка. С этого момента ты уподоблен подозрительно шустрой наложнице, с которой верный шаху евнух не спускает глаз, опасаясь величайшего преступления — прелюбодеяния. «Почему не источаешь ты восторга, когда повелитель берет тебя на ложе свое? Почему очи твои долу? Зачем бросаешь украдкой взгляды за пределы шахского сада, туда, где мрак и скрежет зубовой? Уж не любовник ли у тебя

завелся? » « Ах, — томно отвечает она ему, — меня манит свобода ». Любовника евнух может понять — не простить, но понять, — томление по свободе ему не понятно и вдвое оттого ненавистнее.

Получается, что сначала человек не может эффективно противопоставить себя существующему режиму, потому что не является личностью, а став таковой — потому что не в силах избавиться от повседневной опеки блюстителей политико-идеологической непорочности государства.

И это еще не все, далеко не все, но этого уже достаточно для недоумения: почему же я все-таки согласился на побег, зная, что ничего нельзя предпринимать в союзе с людьми из списка? Или еще яснее так: надеялся ли я на успех? По логике и жизненному опыту — нет; только на успех как на чудо. Если самоубийство это очень часто крик о помощи, то и для меня участие в групповом побеге за границу — нечто вроде самоубийства, вопль затравленного о спасении. Это главный ответ. Можно попытаться и иначе объяснить мой побег, но все эти объяснения на несколько ином уровне и в конце их уместно ставить знак вопроса. Не вся ли моя жизнь — периодические покушения на побег? Хронический инфантилизм что ли? В смысле чаяния снять некое внутреннее напряжение перемещением в про-

странстве. Вид побега от решения так называемых вечных проблем в конфликт с обществом, в котором случилось родиться? Экстраполяция духовного бунтарства, размен его на социально-политические протестации? Но не может же оказаться в конце ложной и логика обвинения данного общества в намеренном препятствовании поискам неофициальных типов самовыражения? Солидное выглядит и такое, например, объяснение. Однажды от жизни сугубо биологической пробуждаешься к иной, озадаченный проблемами из разряда вечных. Отмахнуться от них невозможно, решить — не под силу. Единственный достойный вид отступления — обвинить социально-политическое устройство государства в том, что оно тебе мешает решить эти проблемы, да еще нарочно. Чем ты моложе, тем простительнее желание изменить мир (один из видов побега от своих проблем), повзрослев, ты пытаешься убежать в другую страну, убежденный, что климат ее благоприятнее..., но, постарев, поймешь, что проблемы твои равно неразрешимы во всех концах мира — и государственное устройство тут не причем. Вроде бы ничего объяснение, если бы не кабинетность его. И это и многие другие — полуправда. Не буду спешить с окончательным выводом; пока достаточно констатации факта, что к лету 70 г. я испытывал тошнотворное отвраще-

щение к идеалам и практике так называемого марксизма, убежденный, что таковые неизбежно связаны с лагерными бараками, мечтал поселиться в Израиле и знал, что безуспешность попыток добиться разрешения на выезд не случайна. 20 месяцев — от освобождения из тюрьмы до нового ареста — были для меня сплошной душевной судорогой. ***Хотелось бы большей согласованности поведения в суде. Конечно, каждый имеет право на использование личного шанса. Упреки тут неуместны, ибо попытки реализовать этот шанс в данном случае прямо не посягают на чужие судьбы, а питаются некими иллюзиями. Я считаю, что сегодня решается нечто более значительное, чем моя участь и готов не очень принимать ее в расчет. Кто-то думает иначе, иначе и действует. Не подбирать же людей по принципу их вероятного поведения на суде? Хотя, это, может, было бы намного правильнее всех прочих принципов отбора. Есть любопытная особенность у впервые попавшего в руки КГБ — он не верит, что его будут судить всерьез. Когда жестокость, произвол, бездушие и бездуховность, будучи сущностными характеристиками государства, умело маскируются, когда служба промывки мозгов поставлена на широкую ногу, когда для подавляющего большинства граждан этого государства земля — без всякой иро-

нии — начинается, как известно, от Кремля (да там и кончается), — тогда только серия болезненных ударов под ложечку может помочь выработке трезвого понимания изнанки социально-политических мифов. Тебе удалось чуть приподнять радужный занавес, едва бросить взгляд в закулисный мрак, и ты, ужаснувшись несоответствию его разыгрываемому на подмостках, преисполнился обличительного духа, пафос которого — правда и справедливость (разумеется, крайне абстрактные даже в своей конкретности). Тебе кажется, что ты все понял и окончательно распрощался с судьбой законопослушного болвана. Но ты романтик и власти и вообще-то жестокой, но трижды жестокой к уяснившему ее лицемерие, противостоишь весьма благодушно. Поэтому, когда однажды тебя приглашают на казнь, ты не веришь этому в глубине души. Слишком долго тебя пичкали заверениями в гуманизме, демократизме и справедливости, бескорыстие твоих побуждений очевидно не только тебе, чтобы поверить, что тебя всерьез признают врагом и всерьез покарают. Вот тут и проявляется парадоксальная ситуация: тебя зачисляют в особо опасные государственные преступники, а ты, оказывается, в глубине души веришь всем декларациям государства. И только позже, когда оказываешься в самой сердцевине государственного механизма —

в лагере, — где представителям власти маски кажутся стеснительным бременем, где принципы, на которых зиждется государство, выступают в наиболее чистом виде, начинаешь со стыдом постигать, до какой степени рабским был сам твой протест. У не прошедшего через лагерь (я имею в виду достаточно определенный тип сознания — романтически-бунтарский) нет взрослого отношения к этой системе как к беспощадному, лицемерному и беспринципному врагу, карающему самым жестоким образом за всякий чуть-чуть смелый шаг даже юнца, играющего в оппозицию. Тюрьма — школа свободолюбия. Если тебя не сломают или не привьют тебе дух конформизма, когда хребет так гибок и изящен, ты устыдишься бывшего благодушия. С некоторого момента ты — всегда мишень для пинков, а финты тебе не к лицу — нельзя оставаться личностью и избежать пинков, ибо всякое их смягчение дается лишь ценой измены себе. Надо или стоически принимать их, не уклоняясь, или отвечать на каждый пинок полновесным ударом. Им недостаточно одной твоей уступки, они потребуют все больших и больших, пока в тебе не останется ничего своего. Лучше уж и не начинать. Мой второй следователь майор Никулушкин сказал, досадливо морщась: «С вами, которые сидели, невозможно работать». Еще бы! — ведь набор средств

обработки арестанта не очень и богат : насадка в камере, магнитофон в стене, подделка показаний твоих друзей, искаженная запись твоих слов, игра на интимных подробностях твоей жизни, посулы смягчения наказания и угрозы расстрелом... Ну и еще дюжины не менее банальных трюков. Казалось бы, зачем им твое признание вины и раскаяние, если у них достаточно материала для твоего осуждения на любой, им угодный, срок? Но если ты не доведен до состояния кающегося грешника, дело теряет характер завершенности, как бы повисая в воздухе вопросом о моральной правомерности суда над инакомыслием. Или тут бессознательная дань средневековому народному убеждению, что поистине виновным является лишь признавшийся в преступлении? Одно такого признания было достаточно для осуждения. Тогда Вышинского можно считать теоретизировавшим инквизитором советского средневековья. Дело еще и в религиозной сути тоталитарного государства, где политический противник — не столько даже преступник, сколько еретик! И, может, в нечистой совести, не выносящей публичных уличений в подлости. ***Да, в трезвые минуты я говорил себе, что так обставленный побег — самоубийство. Это не значит, что я не пытался сделать все возможное, чтобы вывернуться из петли. После неудачной попытки скло-

нить Дымшица к отсрочке побега, я с тем же предложением обратился к двум наиболее мне близким людям. Все мои соображения были зачеркнуты возгласом отчаяния и возмущения: «Еще год, еще целый год!» Теперь я виню себя в болезненно щепетильной демократичности, нежелании вслух констатировать факт, что с некоторого момента все бремя фактически легло на меня и мне нужны соответствующие полномочия и права. В таком государстве быть демократом проигрышно.

Еще и потому никто не содрогался при мысли об аресте, что все дали согласие на смерть: мы решили, что если самолет-перехватчик будет пытаться нас посадить под угрозой расстрела в воздухе, мы на посадку не пойдем.

Как-то раз Иосиф и Изя разругались вконец, обсуждая методику вербовки участников побега. Amor fati Иосифа толкал его к подчеркнутому обнаружению трагизма, тогда как Израиль откровенно ориентировался на успех как жизненный принцип. Один настаивал, чтобы всем было сказано: «шансов на удачу практически нет, вероятность гибели столь же велика, как и вероятность тюремного исхода», другой считал успех обеспеченным и не желал отпугивать возможных участников побега. В конце концов победил Иосиф. Но мы тратили слишком

много сил на примирение разногласий, поиск компромиссов. Эта вечная середина, такая теплая и привычная в обыденных ситуациях и расслабляющая, распыляющая силы в моменты, когда вместо словопрений нужен приказ. В иные минуты плохая диктатура стоит хорошей демократии, раз уж нет ни умения, ни времени сделать эту демократию организационно гибкой. ***Дымшиц, говоря об антисемитизме в стране, рассказал в частности о выкрике автобусного кондуктора: «Мало вас Гитлер стрелял!» Прокурор Соловьев пытался превратить этот случай в анекдот, а потом с казенным пафосом распинался за советский народ, в котором в принципе не возможен антисемитизм. Господи, как их распирает от гордости своим демократизмом, если только они не заталкивают тебя в кремационную печь! Ведь тебя же не бьют каждодневно палкой по голове, а ты все не доволен! — вот подтекст их рассуждений, логика твари дрожащей, которую наконец-то (временно!) перестали ставить к стенке за просто так, чуть-чуть ослабили ярмо, и она вообразила себя свободной личностью, горестное возмущение Малюты Скуратова, которому царь-батюшка по-домашнему внушил, чтобы топором пока пореже баловался...

И все же, в чем дело? Почему это автобусное происшествие не работает? Потому

ли, что оно не обременено социально-политической конкретностью (такое возможно едва ли не в любой стране, и, следовательно, важна лишь специфика проявлений антисемитизма, а не сам факт его)? Только оперируя фактами враждебного отношения к евреям на всех уровнях данного общества, только обнажив их неслучайность именно в этом государстве, слиянность их с некоей сутью его, только проиллюстрировав этими фактами каждый официальный вопль о равенстве и братстве, можно надеяться, что сказанное тобою — не общее место. Традиционная религиозная ненависть? — да! Пещерная боязнь чужого и вражда к нему как к олицетворению непонятого и, следовательно, потенциально враждебного? — конечно! Экстраполяция на чужого всего в себе мерзкого? — само собой! Самый доступный способ самоутверждения? — да! И еще с дюжину таких да. Но самое, я думаю, специфическое — антиинтеллигентская настроенность, а в народном представлении жид и интеллигент сопряжены (то и другое ругательство я слышал не единожды еще в детстве — в адрес интеллигентов-неевреев и евреев-неинтеллигентов). Если российский пролетариат венчает, по заверению Ленина, мировую историю, то руки без мозолей и очки под шляхой презираются узаконенно. Но главное — неприятие личности, не уме-

щающейся ни в бараке, ни в общежитии, ни даже в алюминиевых чертогах будущего.

Дымшиц рассказывал об этом автобусном случае с неподдельным волнением. Значит, для него он работает и без всяких аналитических приправ. Переиначу вопрос. Когда он работает? Очевидно, тогда, когда ты уверен если не в дружелюбном к себе отношении, то, во всяком случае, в непредвзятом; если ты еще не выблевал заглоченные тобою пропагандистские пилюли и не научился отличать фасад от задворков. Тогда такой случай возмущает, тогда он чудовищен. Но если для тебя (например, для прокурора) не секрет отношение всех слоев общества к евреям, если ты и сам разделяешь его, то что же тут чудовищного, в этом сожалении — сочувствии Гитлеру? Кто не слышал этот выкрик десятки раз и кто не видел, как снисходительно в лучшем случае реагируют на него все сподобившиеся родиться не-евреями? Погромные настроения не локализованы ни пространственно, ни во времени; можно говорить о затухании погромной пандемии и ее вспышках, но не об избавлении от нее. Погромные эмоции разлиты в массах, накапливаются исподволь, чтобы однажды проявиться во всей мощи своего первозданного безобразия. И нет страны, более благоприятствующей всем видам погромов (от спровоцированных сверху до стихийных),

чем Россия. Режим тому не помеха. Напротив. Он лишь старается придать им неклассическую форму (ибо сам опасается всяких предельно зараженных эмоциями толп — это ведь не отрететированный энтузиазм первомайских демонстраций).

Говоря об антисемитизме партийной элиты, нельзя останавливаться лишь на утробном характере его. Любопытно, что откровенный антисемитизм начинает поощряться сверху именно после отказа от первоначально искренних всемирных упований революции. После того, как ставка на классовую солидарность мирового пролетариата оказалась битой, вожди уразумели, что единственная реальная их опора — свой народ, которому надо кое в чем и потакать.

22. 12. Вчера было не до записей — прокурор потребовал нам с Дымшицем расстрела, Юрке и Иосифу по 15 годам, Алику — 14 и т. д. Даже Сильве — 10. То, что приговор суда будет полнейшим образом отвечать пожеланиям прокурора, для меня несомненно — ведется крупная политическая игра, в которой наши судьбы в расчет совершенно не принимаются, мы даже не пешки, пешки — это судьи и прокурор. Поскольку я (в качестве советского смерда) лишен доступа к сколько-нибудь объективной политической информации, я могу только строить догадки

о факторах, определяющих наши судьбы. Умозрительность посылок делает для меня равновероятным как осуществление смертного приговора, так и отмену его в последний момент.

Сегодня я уже готов «присоединиться к большинству», вчера же я был несколько выбит из колеи. Даже слегка поколотил Белкина — прорвалось давно накопившееся против него раздражение. Привезли меня вечером из суда, я больше жизни жажду одиночества, чтобы справиться с собой перед лицом костлявой, принявшей облик прокурора (у нее еще много метаморфоз впереди: послезавтра она заговорит устами судьи, потом — со страниц всяких официальных бумаг, а под конец прикинется каким-нибудь толсторожим надзирателем), а Белкин, узнав о «пожеланиях» прокурора, вяло констатировал его кровожадность и, захлебываясь от волнения, начал читать вслух письмо от какой-то Вали. Я ходил по камере, стараясь собраться с мыслями, принаравливаясь к новому своему положению и... мне никак это не удавалось. В голове металась обрывки мыслей: «Оно и лучше, чем 15», «Пропади оно все пропадом», «Не все ли равно когда умирать», «Мы еще посмотрим» и т. п., — и все более и более угнетало чувство растерянности, душевного смятения, до крика хотелось одиночества,

тишины и темноты — без чужих глаз. Наконец, когда он отложил в сторону письмо и попытался втянуть меня в обсуждение его подробностей, я не выдержал. « Не мог бы ты оставить меня в покое хоть сегодня? » Кончилось это тем, что я трижды стукнул его головой о стену — в соседней камере вообразили, очевидно, что это сигнал и ответили бодрой морзянкой. Больше я не слышал от него ни слова, а сегодня, вернувшись из суда, в камере его не нашел — убрали. Сижу — наконец-то! — один.

Поскольку я не собираюсь осчастливливать своими дневниками человечество, а для меня ценность их теперь под большим вопросом, я надумал было предать их огню. Однако потом решил не спешить (одно уж это говорит о силе инстинктивной надежды на жизнь — вопреки всем логикам). Но мне, к несчастью, не до клинического анализа трепыханий души на грани небытия (или инобытия). Ограничусь фиксацией пустячков. Впрочем, на сегодня хватит.

23. 12. Комедия кончилась — дело за приговором. Завтра в 6 ч. вечера. В моем распоряжении весь вечер и завтрашний день. Сижу один, по поводу Белкина никто меня не вызывал — без наказаний, видно, обойдется.

Сначала « высшей меры наказания », причем для всех, потребовал общественный

обвинитель Медноногов (я его зову Меднолобовым), но я решил, что он не вкладывает в это «устойчивое фразеологическое словосочетание» специфически кровавого смысла — ан, промахнулся.

Любопытная — и весьма характерная — деталь: Меднолобов еще в ходе судебного расследования все допытывался, с какой целью мы сначала назначили побег на 2 мая. Ему объяснили: возможность незаметно съехаться в Ленинград большой группе людей, разъехаться по домам в случае отмены побега и т. п. Однако он возопил позавчера: «Неспроста они планировали совершить свое гнусное преступление именно 2-ого мая — они хотели испортить праздник мирового пролетариата! Неспроста они задумали это злодеяние в юбилейный год, когда весь мир отмечает 100-летие со дня рождения Ленина!» После его выступления ко мне подошел Лурьи:

— Ну, как?

Я: — Экая, право, дубина! Надеюсь, требуя высшей меры, он не имел в виду расстрела?

Лурьи: — Конечно же нет.

Я: — А как вам понравилось относительно 2-го мая и юбилейного года? В следующем году партсъезд — тоже торжество мирового пролетариата. Не знаешь, в каком

году и родине-то изменить — сплошные торжества !

Лурьи : — Уже очень вы момент неподходящий выбрали — и смерть Курченко и Ассамблея ООН...

Я : — Характерно, что именно сейчас в ООН принята резолюция о борьбе с угоном самолетов. Пока в СССР не было таких случаев, не очень и в ООН шевелились. А тут, видать, надавили — и порядок.

Лурьи : — Почему не было случаев ? Вот же в том году...

Я : — Было, конечно, и до того года, но все это удавалось замалчивать... не так скандально, как с нами получилось. Кстати, им ведь, несмотря на стрельбу и трупы, дали, кажется, одному 15, а другому — точнее другой — 14 лет.

После речи прокурора.

Лурьи : — Не ожидал... Никто не ожидал... Это беспрецедентно ! Но не отчаивайтесь — я уверен, что до смертного приговора не дойдет — слишком скандально.

Я : — Боюсь, что раз прокурор потребовал — нас приговорят к вышаку.

Лурьи : — Не буду от вас скрывать... не исключено, что суд приговорит вас к смерти. Но, уверяю, они просто хотят, очевидно, провести вас по всем ступеням ожидания казни, а потом помилуют.

Я : — Будем надеяться. Хотя помилование

я не намерен писать. Во всяком случае сейчас — потом, может, превращусь в тварь дрожащую, тогда... Но человеческого облика мне не хотелось бы терять.

Лурьи : — Может, до этого не дойдет. Что я говорю « может » — я уверен !

Я : — Вы их плохо знаете. Я, конечно, понимаю, что наши судьбы им до лампочки — тут расчет на другое. Но именно поэтому, почему бы нас не разменять ?

Лурьи : — Такого никогда не было.

Я : — Мало ли чего не было ? Помните, к Рокотову и Файбушенко применили обратную силу ? И разменяли.

Лурьи : — Это случай, о котором вспоминают разве что специалисты, а ваше дело — другое.

Я : — В 1963-4 годах на спецу расстреливали за всякий пустяк. Не верите ? Конечно, это делалось сугубо втихую. Особенно за антисоветские наколки на лице... Тоже ведь результат расширительного толкования статьи — их по 77,1 судили. А давно ли за побег из лагеря судили по 58-14 — как за саботаж и экономическую диверсию ? По 25 давали.

Лурьи : — Ну сейчас не те времена. Как вы с последним словом ? Это очень важно теперь.

Я : — Каяться я не буду и вины, разумеется, не признаю — разве что по 83 статье. Вы заметили, что прокурор объявил меня

русским? Думаете, им движут лишь академические страсти? Уверен, что это неспроста. Одно дело, если 2-х евреев приговаривают к вышаку, и другое — одного еврея и одного русского. Никакой дискриминации. Я об этом скажу в последнем слове.

Лурьи: — Глупее ничего не придумаете! Это всего лишь ваши домыслы. Он же не расшифровывал подтекста? Так зачем же вам это делать? У вас, по-моему, и так хлопот хватает — стоит ли мудрствовать в вашем положении? Ведь говоря об уверенности, что суд — этот или кассационный — не избрет вам меру наказания, связанную с физическим уничтожением, я имею в виду и ваш отказ в дальнейшем от боевого задора, очень, в вашем положении неуместного.

Я: — Неуместен он только в смысле стилевой безвкусицы или пренебрежения стилем, правилами игры, навязанными нам. Зарекаюсь отныне и навеки как-то и что-то объяснять в суде.

Лурьи: — А вы думаете, вам еще предстоит выступать в суде? Вы оптимист... или пессимист, если с другой стороны посмотреть. А почему?

Я: — Что почему?

Лурьи: — Почему молчание, по-вашему, лучший способ защиты?

Я: — У нас с вами разные подходы. Не защиты, а более достойного выражения сво-

его отношения к судебному фарсу. Мне стыдно опускаться до примитива лозунгового объяснения своих мотивов, а только оно практически и возможно. Я тяготею к детализации, психологической нюансировке — мне затыкают рот... Ограничиться же тезисной подачей своих целей, состояний и того, что я зову предкриминальной ситуацией, значит дать возможность обвинению демагогически обыгрывать эти тезисы, оборачивать их против меня.

Вчера вечером. *Лурьи* : — Вы, очевидно, не довольны моим выступлением?

Я : — Почему же? Да и какая разница?

Лурьи : — Мне самому неудобно за свое вяканье. Певзнеру куда легче защищать Дымшица, чем мне вас — и судимость за антисоветчину, и взгляды-то вы свои не считаете нужным скрывать, и... вообще. Вам, я думаю, очень повредила эта ваша настроенность с самого начала на пятиалтынный — все равно, де, 15, так и плевать на вас!

Я : — Кстати, не странно ли, что прокурор просит мне дважды по 10 лет за пару книг? Многовато, по-моему. Сейчас за это от силы 2-3 года дают.

Лурьи : — Эх, вас какая чепуха волнует! Какая вам разница — 10 или 3 на фоне вышака?

Я : — Уж больно бесит вся эта чепуха, вся эта сплошная чепуха.

24. 12. Лучше всех вчера выступила Сильва — по-женски, она выхватила из всей массы слов, которые просятся в «последнее слово», самое главное — и тут же перевела: «И если я забуду тебя, Иерусалим, пусть отсохнет моя правая рука!»

Дымшиц пригрозил, что если вы, дескать, расстреляв нас, думаете припугнуть этим других, будущих беглецов, то просчитаетесь — они пойдут не с кастетом, как мы, а с автоматами, потому что терять им будет нечего. (Тут он, по-моему, хватил через край. Выходит и мы, знай мы о расстреле, взяли бы за автоматы. Но все же он молодец. Дело тут не в логике, а в несокрушимости духа). Потом он поблагодарил всех нас, сказав: «Я благодарен друзьям по несчастью. Большинство из них я увидел впервые в день ареста, на аэродроме, однако мы не превратились в пауков в банке, не валили вину друг на друга». Из остальных выступлений мне больше всего понравилось выступление Альтмана. Я же как-то излишне много оперировал статьями и ничего существенного из себя не выдавил — вечная скованность из-за боязни впасть в патетику.

Никак не дождусь вечера. С неделю тому назад мы с Белкиным не сошлись в мнениях по поводу т. наз. последнего желания смертника перед казнью. Я считаю, что такая отрыжка феодально-буржуазного гуманизма

не к лицу советским тюремщикам и палачам. Все чаще начинаю задумываться над такими животрепещущими вопросами: где, когда и каким образом смертный приговор приводится в исполнение? Толков я об этом слышал немало, но все как-то неопределенно. Смерть по закону окутана тайной.

С унынием констатирую, что я не оригинален: Морозов вспоминает, что более всего его волновала мысль о достойном поведении во время чтения приговора. То же и со мной. В такую минуту такая ориентация вонне! Понимаю, что это надо как-то подавить в себе, но ни о каком контроле над петлянием мысли возле самых странных, порою дурацких вопросов не может быть и речи. Уверен, что Дымшиц не мучим столь искусственными проблемами — его мужество менее литературно и более естественно. (Эге, проболтался, что считаю и свое поведение мужественным...). Так что я зря волновался за него, все искал возможности предупредить, чтобы он был готов к смертному приговору.

Без «помиловки» у меня еще месяца 1,5-2 впереди — до ответа из кассационного суда. Значит, где-то во 2-й половине февраля: не ахти как весело в феврале-то.

5. 5. Опять я на бобах. Но пласт упрямства во мне, видать, глубок. 30-го апреля был предпраздничный шмон, и все мои бумаги сгорели, точнее утонули. Один из надзирателей, юный комсюк, так и пышущий сыскным энтузиазмом обнаружил мой тайник, устроенный не столько основательно, сколько остроумно, и извлек оттуда целую кипу бумаг. Я, словно меня кто толкнул, ринулся на него, вырвал сверток из рук и, раскорячившись над унитазом, распотрошил его в клочья и спустил в Неву, Фонтанку, Мойку или как их там еще зовут. Все это время двое надзирателей трудились надо мной — так что еще и сегодня, спустя почти неделю, лицо у меня в царапинах, шея и руки в синяках, а левое плечо вроде как вывихнуто. Таким образом, я уничтожил записи за четыре месяца. Судьба первых двух тетрадей (за ноябрь и декабрь) под вопросом. Когда меня посадили в камеру смертников, все мои бумаги — выписки из

дела, конспекты, а равно и дневник — завернули, не глядя, в газету и сказали, что сдадут их на склад личных вещей. Так ли это, — узнаю в этапный день, который, похоже, не за горами.

Беда в том, что я уже привык к благополучным исходам еженедельных обысков, уверовал в свою удачливость и хитроумие тайника. Если первые два-три месяца я пугливо обходил темы, разработка которых могла бы оказать невольную услугу надзирающим за нашими душами, то потом я отчасти распустился, внутренний цензор мой растолстел и разлиберальничался, позволяя мне писать о чем угодно и как угодно искренне, словно я какой-нибудь обросший мохом партиец-мемуарист, «весь проваренный в чистках, как соль», которого хоть выверни наизнанку — ничего, кроме верно-подданнических восторгов не обнаружишь. И если с первыми 2-я тетрадами я расстался сравнительно легко (правда, и момент-то был не вполне располагающий к тетрадным переживаниям), полагая, что записанное в них никому, кроме меня самого, не повредит, то о последних я был иного мнения — за что и претерпел. Не то, чтобы там было что-то из ряду вон выходящее, но даже и описания психического склада моих друзей (а я за эти месяцы излишне много копался и в себе и в других) могло оказаться доста-

точно ценной информацией для тех, в чьи руки мы отданы отныне на многие годы.

Для малосрочников лагерь редко естественная форма жизни. Он — нечто временное, опасное приключение, путешествие в страну необычного напряжения душевных и физических сил. И тот, кому в обычной жизни и в голову не пришло бы взяться за перо, в лагере, бывает, исписывает горы бумаги (тайком, едва отдышавшись от облагораживающего его труда, где-нибудь в укромном уголке, делая вид, что сочиняет жалобу или письмо...), пытаясь обрисовать арестантский быт. Для одного это форма самоосуществления в условиях оголтелого преследования всякой самости, для другого — способ подачи себя в экзотических условиях: ужасы внешнего порядка соблазнительны автору-скороспелке, фиксируя их неуклюжим словом, он утверждает себя как личность необычную, причастную к экстраординарному бытию. Этот другой (или даже первый, не изживший в себе другого) описывает реальных людей со всеми их лагерными страстями, взглядами, привычками и планами на будущее, создает донос. Такова в полицейском государстве участь всякого документа о живом лице.

Мне следует быть осторожнее, я не случайный гость в заключенном царстве, мое небо надолго в клеточку... Я пишу, чтобы

сохранить свое лицо. Лагерь — это предельно низменная среда, это сознательное конструирование таких условий, чтобы человек, вновь и вновь загоняемый в угол, усомнился в нужности служения своим истинам и уверовал в то, что есть лишь правда биологии — приспособление (сначала ради самосохранения, потом оно обрастает шерстью собачьего воодушевления и становится самоцелью, требуя едва ли не жертвенного себе служения). В тот срок я стихийно противостоял натиску лагерной нежити (синепогонной под кличками: Летун, Летучая Мышь, Вий; и черносотенно-уголовной — всяким Ведьмам, Михаилам Архангелам, Люциферам, Лешим, Анчуткам, Витязям и Скифам). Теперь мне будет намного труднее: возраст не тот, изолятор уже не экзотика, кулачный пыл поостыл, книжные иллюзии о страдании как о способе приобщения к высоким истинам поизжиты, вылинял нежный пушок романтизма, покрывавший душу...

Для меня дневник — это форма сознательного противостояния невозможному быту. Письменно зафиксировать особенности тюремно-лагерного существования — значит объективировать их, отчасти отстраниться от них, чтобы время от времени высовывать им язык.

За четыре месяца — с января по май — я заполнил мельчайшим почерком с полсот-

ни листов — собственно дневник, — кроме того постарался протокольно точно воспроизвести суд, процесс над нами и написал некое подобие повестушки — «Рядом с Лениным». Семь дней до отмены смертного приговора я сидел с Ляпченко Алексеем Ильичем — тоже смертником, — в 194-й камере, рядом с той, знаменитой, в которой когда-то страдал вождь революции. Ляпченко по утрам, едва проснувшись, и вечером после отбоя колотил в стену кулаком, приговаривая что-нибудь вроде: «Ну как ты там, дядя Ленин? Привет. Вишь, что ты понатворил, лысый хрен...», — не ирония, не насмешка, а печальный укор — вряд ли даже и Ленину в качестве символа советской жизни, а так — неведомо кому, может, судьбе, которую надо же как-то обозвать. Я написал о себе, о Ляпченко, о том, как дышится в камере смертников. Но чуть позже перечитав свое творение, нашел, что не справился с материалом. Сохранить написанное как черновик я не решился — сжег.

В общих чертах постараюсь восстановить все наиболее значительные события этого года, если будет настроение. Главное — ничего не вымучивать, писать, как пишется: огонь всеяден, а чекисты — не велики стилисты.

6. 5. 31-го декабря около десяти вечера мне объявили отмену смертного приговора и перевели в 199 камеру, 13 января ознакомили с постановлением Лен. горсуда о содержании меня в следственном изоляторе до процесса над Бутманом и иже с ним, на котором я должен выступить свидетелем. В начале апреля меня перевели в 197-ю камеру, где я и поныне обретаюсь.

Во время следствия я старался минимально финтить, придерживаясь простого правила: о себе что угодно, о других ничего. Но это правило не без изъянов. Один из них таков: если кто-то, кого я считаю человеком неглупым и житейски опытным, дает так называемые правдивые показания, я, знакомясь с ними лишь по частям, мучаюсь сомнением: слезы ли это кающегося преступника или вынужденное маневрирование припертого к стене, но не упавшего духом, бредущего тернистой дорогой полупризнаний к сокрытию чего-то более важного, которого я могу и не знать. В последнем случае я считаю возможным подтвердить те или иные показания, если они не вредят третьему лицу. Мне зачитывали отрывки из показаний Бутмана и Коренблита Мих., и я, дивясь исповедному характеру их признаний, все же находил в них намеки на игру и кое-что, касающееся только их и меня, подтверждал, надеясь таким образом подыграть им. Толь-

ко после ознакомления со всеми материалами дела, я, увы, обнаружил, что они-таки действительно каялись. И вот теперь меня включили в список свидетелей. Что, вообще говоря, странно. Ведь если Дымшиц утверждает, что Бутман и Коренблит знали о нашем побеге, то я настаиваю на обратном. Неужели я свидетель защиты? Фантастика. Именно потому, что понятие «свидетель защиты» не более связывается с представлением о суде над государственными преступниками, чем оправдательный приговор с обвинением по 58 статье, лагерная этика безоговорочно приравнивает свидетеля к активным сотрудникам режима. Свидетель — это столь же одиозно, как доносчик, бригадир, нарядчик, придурок... Но безусловным исполнением каких бы то ни было предписаний я давно уже не грешу. И — чем черт не шутит! — не исключено, что я и в самом деле свидетель защиты. Пустили же на наш процесс родственников (Боже мой, потрескивает звериный хребет: расправа в тишине, чтобы лишь обглоданные косточки свидетельствовали о «правосудии» — но никаких этих воплей жертвы, кровоточащих ран и горячих фонтанов крови...).

Есть смысл «тормознуться» в Большом Доме — впереди меня ждет работа, работа, работа, агрессивный идиотизм сокамерников, тухлая селедка, произвол начальства и вся-

кая такая советская всячина. А тут я уже 5-й месяц в одиночке (у меня особый режим и подпускать ко мне можно только равных по опасности и закоренелости преступников, а таковых здесь нет), читаю с утра до ночи, получаю ежемесячно пятикилограммовые передачи и курю сигареты. О чем еще может мечтать зэк? Каждый день вне лагеря — выигранный у советской власти день. Так уж сложились мои с социалистическим лагерем отношения, что жизнь и тюрьма для меня синонимы и дни, когда меня не травят — счастливая случайность, эфемерность, преходящесть которой я очень чувствую. В какой окутанной розовой дымкой дали те времена и страны, когда и где сам факт пребывания в 4-х тюремных стенах, лишение свободы — величайшее несчастье. Здесь заключение — такое сочетание разнообразных способов мучения человека, что несвобода, понимаемая лишь как изъятие из обычной жизни, не кажется несчастьем. Именно поэтому следственный изолятор для меня — санаторий, особенно в этом году, когда я избавлен от ежедневной пытки вынужденного общения с тем или иным другим, который, как известно, ад (если не ошибаюсь, именно так звучит у Сартра: ад — это другой). Достоевский разом очертил самую мучительную суть каторжного бытия — общежитие и невозможность угла, куда бы

хоть ненадолго удаляться. Ныне арсенал пыточных средств куда богаче, и первое среди них, отвечающее нечеловеческому духу социального экспериментирования, зовомого учинением всеобщего земного рая (желательно в ближайшей пятилетке — досрочно!), — постоянное, не брезгающее самыми мерзкоумными средствами, давление на душу человека, его совесть и ум, так называемое исправление его, в сути — попытки превращения в нравственно-духовный нуль.

Нет, одиночка (если в ней не морят голодом, не изводят тарабарщиной гадины-радио, которое, как во Владимирском центре, нельзя выключить, дают читать не только Кочетова и иже с ним) это роскошь, это почти особняк, которому имя «Покой», тот, которым Га-Ноцри наградил замученного Мастера.

Сгоряча я было отправил заявление с отказом участвовать каким бы то ни было образом в судебной расправе над Бутманом и другими, но, поостыв, рассудил, что в лагерь мне спешить не с руки, а на суде я сориентируюсь и сумею дать выгодную защите интерпретацию роли Бутмана и Коренблита в нашем деле.

7. 5. Сегодня в обед слышал голос Ляпченко. Очевидно, ему подавали еду в кор-

мушку, а в это время мимо шел кто-то из начальства. «Гражданин начальник, — слышу, — так как же насчет «Нового мира» — пятый номер?»¹⁾ Больше ничего нельзя было разобрать. По голосу я его, может, и не узнал бы, но этот «Новый мир» — знак безошибочный. Он мне им все уши прожужжал. Ему и Морозову прокурор потребовал расстрела, и в день вынесения приговора, когда до возгласа: «Встать! Суд идет!» — оставались считанные минуты, к нему подошел какой-то мужчина и спросил, не читал ли он повесть о себе в 5-ом «Новом мире». «Нет», буркнул в ответ Ляпченко. Тот, назвавшись автором этой повести, горячо рекомендовал ему прочитать ее. Но Алексею Ильичу в тот день было не до честолюбия и уж совсем не до изящной словесности — он послал автора в известное русское место. А потом все сокрушался, что не попросил у него этот журнал. Повесть ли там в самом деле, очерк ли какой — не берусь сказать, не видел. Я просидел с ним неделю, и не было такого дня, чтобы он так или иначе не помянул про этот журнал. Человек он не плохой, как и большинство заурядных карателей, которых я видел предоста-

¹⁾ Имеется в виду повесть Василия Быкова «Сотников» («Новый мир» 1970, № 5).

точно. История банальнейшая, сотни раз слышанная: нищий духом избирает роль палача, ибо амплуа жертвы ему не по плечу. В мировом спектакле три основные роли: палача, жертвы и зрителя. Он по натуре своей зритель, но вот страсти нагнетаются все более и из числа зрителей начинают насильно рекрутировать палачей и жертв — и он, конечно, становится палачом. Зритель — чаще всего палач в потенции. При всем том он добродушен, безусловно честен — по житейски — и сентиментален. Я верю его рассказам, как при случае — когда это не грозило его жизни — он помогал партизанам и их семьям. Все это очень понятно. Ему бы не дали расстрела, когда бы не «ножницы» (словечко из следовательского слэнга, очевидно, Ляпченко уже отбыл 10 лет в лагере и теперь, получи он 15, эта десятка была бы ему засчитана как отсуженная — ведь его судили за то же самое преступление. «А 5 лет — это, сами понимаете маловато», — объяснил ему проблему «ножниц» следователь).

Я читал пару статей о них. Не знаю, как там насчет другого-прочего, но дифирамбы в адрес бдительных чекистов, которые якобы разыскали десятки лет скрывавшегося Ляпченко, — мягко выражаясь, преувеличение. После освобождения в 55 году он жил в родном городе, фамилию не менял, время от

времени получал из КГБ повестки и не уклонялся от посещения соответствующих кабинетов, несколько раз выступал свидетелем на процессах над карателями. А осенью 69 г. его и еще 4-х арестовали и привезли в Ленинград, в окрестностях которого они служили немцам (с таким же успехом Ляпченко можно было привезти в Эстонию, в оккупации — то бишь освобождении — которой он участвовал в 40-м году. Правда, там он всего лишь захватчик, а тут изменник родины). « Дурак я небитый, — печально цедя слова, сокрушался он. — Почти 15 лет горб на них гнул. Про лагерь я уж молчу. Дом, семья, сынок.. зам. директора богатительной фабрики стал. Как же, поставили бы они меня зам. директора, когда бы я со второй группой инвалидности не работал по 16 часов каждый день! Старался!... Тише воды, ниже травы, всякого куста шарахался, милиционера увижу — аж потом обольюсь холодным... только не троньте меня!... Устроили мне тут с одним очную ставку. Сво-лочь, говорю, что же ты врешь на меня? Смотри, и твой черед придет. А он: « Я свое отсидел. Меня народ простил ». И я, говорю, свое отсидел, и меня простили, а теперь вот...

Никто его, конечно не разыскивал, а потихоньку собрали о нем дополнительные сведения — расчетливо утучняли тельца для

очистительной жертвы нужный срок. Ведь время от времени необходимо устраивать шумные процессы над военными преступниками — подпустить патриотического угару, оправдать и публично поощрить вкус к соглядатайству, списать режимные издержки на тайных врагов, исподволь навязать советскому обывателю мысль о необходимости огромного сыскного аппарата... А главное, чтобы отрепетированно скандируя что-нибудь вроде: «Куба — да! Янки — нет!», толпа ненароком не прорвалась, не сбилась на: «Куба — да! Мяса — нет!» Я знаю случаи, когда людей, отсидевших по 15-20 лет, брали прямо из лагеря, заново судили и ставили к стенке. Полицай, такие весьма средненькие людишки, ужасные в своей заурядности только тогда, когда знаешь о их прошлом, мне омерзительны — и даже не столько кровавой биографией, сколько в качестве живого олицетворения мрачных сил бездуховности, конформизма, готовности служить любому господину... Но есть кое-что и пострашнее — государство, чье прошлое, настоящее и будущее, сама суть на крови, лжи и бездушии, государство, перед кошмарным ликом которого человек — ничто. Преступника оно судит не ради торжества справедливости, а руководствуясь политико-экономическими конъюнктурными соображениями. (Характерна нелюбовь к

изъятию из социально-политического контекста таких общечеловеческих понятий, как справедливость, гуманность, любовь, честь... Что делать с ними прагматикам, которым даже ситуационная этика обременительна ?).

8. 5. Ляпченко признался мне, что всю жизнь уважал евреев и что даже жена его еврейка. Последнее он ставил себе в особую заслугу. (Я заметил, что стоит поамикошонствовать с юдофобом или крепко его напугать, как он ни к селу, ни к городу признается в тайной любви к евреям. Кровь на них вопиет, что ли ?). Он искал у меня сочувствия и оправдания, но даже перед лицом смерти я не находил в себе сил ни для того, ни для другого, ибо в каждом его слове и жесте проступал лично ненавистный мне облик « маленького человека » (O, sancta simplicitas! O, эта святая, умилительная простота, такая простая — с вечной вязанкой хвороста в руках!), истошно вопящего миллионами зловонных глоток на стадионах и косяками прущего в гитлеровско-сталинские партии (когда они уже у власти, разумеется). Этот человек с улицы — не столько жертва репрессивных режимов, сколько опора их.

Мне не хотелось выслушивать его признаний. Однако 31-го декабря ему удалось-таки превратить камеру в исповедальню. Нача-

лось с того, что я обругал его трусом. Стоило хлопнуть кормушке, как он вздрагивал, спотыкливо пятился в дальний конец камеры и замирал там в углу, судорожно прижав руки к груди и испуганно таращась на дверь. В тот предновогодний вечер он то и дело заговаривал о смерти: то надеялся ночью умереть от сердечного приступа и просил меня не вызывать врача, если ему будет плохо, то иронизировал над глупостью устроителей камеры смертников («Подумаешь, досками обшили, — кивал он на унитаз, — заберусь на подоконник и затылком об пол... или в баню поведут — на полотенце можно повеситься..»), то соображал вслух, где, как и кто его будет расстреливать. Я уже привык к этой теме, как и к вскрикам по ночам. Вдруг надзиратель лязгнул кормушкой, очевидно, проверяя заперта ли она. Алексей Ильич забился в угол, в глазах его трепетало безумие безграничного ужаса. На миг мне показалось, что там, за моей спиной, в черном квадрате кормушки торчит дуло автомата, я вздрогнул, обернулся — ничего... Вот тут я и набросился на него с бранью. Он не оправдывался — во всяком случае прямо. «Эх, Эдуард, Эдуард! Если бы мою жизнь в романе описать — заплакали бы». Эх, Алексей Ильич, Алексей Ильич, — иронически спародировал я его, — до чего же всем нам хочется в роман попасть или, как

минимум, в герои двухсерийного фильма : простой рабочий человек, не без недостатков, но и с массой достоинств; первые — трагический результат злобных обстоятельств, вторые — личная заслуга... » « Я понимаю. Вы, конечно, думаете про себя, что так, мол, ему и надо — давно пора расстрелять ». « Разве я, — возмутился я тут, — не в одинаковом с вами положении? Как могу я желать кому бы то ни было расстрела? Я ведь даже дела вашего не знаю. Не только не выспрашиваю вас, но и не хочу слышать — раз уж мы в одной камере сидим... Я вам не судья, тем паче не прокурор. От чистоплюйства меня жизнь, увы, давно отучила. « Ни гневом, ни порицанием, давно уже мы не бряцаем... », знаете? Раз уж нет возможности обходиться с ними иначе или добиться одиночки. Я, Алексей Ильич, зэк — со всеми отсюда вытекающими последствиями, и меня человек интересуется по преимуществу с точки зрения жаждущего тишины : умеет он ее блюсти или нет? Буйному честняге я всегда предпочту в качестве сокамерника доносчика, пожирателя грудных младенцев и... и кого-угодно, если только он тихоня. Я давно уже не переделываю ни мира, ни людей — разве что в просоночном состоянии... », — и т. д. о том, какой я хороший, объективный, справедливый и о том, как мне все на свете осточертело. Одна-

ко он из числа тех собеседников, которые слушают тебя лишь для того, чтобы дождавшись случайной паузы, начать про свое. « Это вы правильно давеча заметили, — как всегда тихо, печально и медленно выговорил он, пока я прикуривал сигарету, — я человек раздавленный. Плен, немецкая каторжная тюрьма, советский концлагерь... Когда меня в том году арестовали — 2-го октября, — втолкнули в камеру — я как встал у двери, так и простоял, не шевелясь, часа три. В голове только одна мысль: « Сейчас ворвутся и бить будут! Знаете, как в те-то времена было? Добровольно я что ли к немцам-то пошел? Я, может, человечину ел с голоду... Французам да англичанам посылки присылали с шоколадом, а мы с голоду дохли. Сталин объявил, что у него нет пленных, только — изменники родины. Какие уж тут посылки... А когда нас через деревни гнали, в 41-м, босых, раненых — бабы, детишки, старики в нас камнями бросали, расстрелять, кричат, этих сталинских защитников. Партизаны там всякие — это потом, когда немцы колхозы восстановили, а сначала-то с хлебом-солью встречали... ».

Страна крашенных фасадов, манекенов, дутых цифр и лживых деклараций. Страна фикций и показухи... Отмена смертного приговора нам с Дымшицем была, разумеется,

запланирована. Предрешенность нашей участи стала мне наиболее очевидна 26-го декабря. Но тогда я подозревал, что предрешена она иначе.

Около 8 ч. вечера 26 декабря, в субботу 4 надзирателя доставили меня в кабинет начальника следственного изолятора майора Круглова. Майор и Лурьи подчеркнуто бодро приветствовали меня. « Быстренько пишите кассационку », — с места в карьер начал Лурьи. Кажется, я даже побледнел от волнения. Никакого сомнения, решил я, — они в сговоре. Видно, слишком много шума вокруг нашего дела, и нас надо поскорее расстрелять, следуя известному принципу маккиавелизма : « карать решительно и сразу, пряники раздавать помалу, но часто ».

Здоровый, сочувствующий тяжело больному и поражающийся его привычке к страданию, — жертва банального психологического просчета : он мерит на свой аршин. Тогда как аршин больного существенно иной. Организм приспособляется к недугу — слабостью, частыми обморочными состояниями, понижением порога болевой чувствительности... Приговоренный к смерти бежит в безумие, в упование на чудо, играет в прятки со временем, переосмысляя его, создавая особую систему отсчета, — лишь бы не остаться наедине с мыслью о близкой неизбежности смерти.

Я прикидывал, что у меня в запасе еще месяца 2. Мало, кошмарно мало, но достаточно, чтобы не думать о конце сейчас — еще будет время собраться с мыслями, заглянуть в себя, примериться к небытию... И вдруг так скоро, так сразу?..

Вечером того же дня после отбоя, искурив десяток сигарет, я посмеялся судорожной логике своих выводов. И все остальное время мне в общем-то удавалось удерживать рассудок от обслуживания утробных страхов. Правда позже, когда смертную казнь мне заменили 15 годами и перевели в 199-ю камеру, я вдруг опять заболел подозрительностью, близкой к маниакальной. Более всего меня смущало то, что 199-я камера была камерой смертников; письма Люси и Бэлы казались мне подделанными, любой пустяк тюремного быта, чуть-чуть необычный чем-либо, обретал зловещую двусмысленность символа, всякая, даже самая безобидная, реальность деформировалась и, нашпигованная сюрреалистическим ужасом и тайной, дразнила меня мнимым подтекстом. Но это продолжалось сравнительно недолго — чувство юмора взяло верх. Благодаря ему я все же ни единого мгновения не был вполне тварью дрожащей.

«Быстренько пишите кассационку», — с места в карьер начал Лурьи. «Т. е. как это так? — спросил я. — Только вчера мне

вручили копию приговора — у меня еще неделя в запасе, если не ошибаюсь». «Послушайте, — доверительно зачастил Лурьи, — сегодня ведь суббота, нерабочий день — однако весь суд на ногах. Это что-нибудь да значит?»

Увы, я виноват перед Лурьи, ибо тогда истолковал его намек по-своему. Если бы ты не врал, рассудил я, то не осмелился бы на такие намеки в присутствии чекиста. Я воздержался от вопросов и заявил, что кассационную жалобу напишу в понедельник. «Да вы что? — бодро прорычал майор. — Я ведь не зря торчу тут весь вечер — дело-то к 9-ти идет! Дымшиц уже написал и все ваши написали — за вами дело».

Такая спешка, такое незамаскированное отношение к составлению столь важного — по замыслу — документа, как к пустейшей формальности, неожиданно развеселило меня. Тут же в кабинете я за полчаса исписал пару страниц и вручил их Круглову.

Следует отметить такую характерную деталь. Поскольку я настаивал на умышленной ложности квалификации совершенного мной деяния как измены родине, утверждая, что я виновен лишь в попытке нелегально пересечь границу, начало моего ходатайства в кассационный суд («Не оспаривая тяжести моего преступления — покушения на незаконный выезд за границу, — я тем

не менее...») носило откровенно ирониче-
ский смысл, если его не вырывать из
контекста и помнить, что за переход грани-
цы статья до 3-х лет, а мне дали расстрел.
В определении же кассационного суда эта
фраза в результате несложной операции на-
полнилась неким покаянным звучанием :
« Кузнецов не оспаривает тяжкой вины
перед государством ». Разница из существен-
ных. Уж очень им хотелось нашего раская-
ния. А в « Известиях » от 1-го января 71 г.
(« Преступники наказаны » — В. Барсов,
А. Федосеев) прямо сообщается широкому
советскому читателю, что « подсудимые один
за другим отвечали : « Да, признаю себя
виновным ». Я, Юрка и Алик, конечно,
уголовники в прошлом. Ну, это еще куда ни
шло — в СССР ведь нет политзаключенных,
об этом еще Хрущев говорил. Но откуда
авторам этой статьи стало известно, что
« была даже определена точка, с которой
нужно произвести выстрелы, — стреляли бы
в спину », — если ни мы, ни следствие, ни
суд этого не знали ?

10. 5. В « Известиях » от 30-го декабря 70 г.
появилось сообщение о расправе над 16-ю
баскскими патриотами. « Можно представить
себе, — восклицает корреспондент, — нена-
висть палачей к патриотам, если они выне-
сли беспрецедентное решение — приговори-

ли 3-х басков к смертной казни дважды». Не знаю, как насчет беспрецедентности двух смертных приговоров (помнится, я слышал о таких случаях), но корреспондент, очевидно, решил, что уж суд-то над нами во всяком случае не может считаться прецедентом для испанского суда — нас ведь приговорили к расстрелу не дважды, а трижды: по статьям 64 «а», 72 и 93,1. Истина превыше всего!

Мы с Алексеем Ильичем решили отпраздновать Новый год в 9 ч. вечера. Можно было бы, конечно, и в 12 ночи, но бодрствовать ночью — грубейшее нарушение режима. Даже смертнику есть что терять — полуторарублевую закупку в тюремном магазине, например. Я думал, что хоть в качестве смертника смогу пренебречь казенным харчем — куда там! Полтора рубля в месяц — только-только на махорку. Какой тут может быть разговор о последнем желании перед казнью? И никаких тебе площадей, публичности этой буржуазной — задавят где-нибудь втихомолку... Впрочем, я ушел от темы.

Достав из тумбочки скудные свои припасы, мы выпросили у надзирателя кружку — нам, пожалуйста, на минутку, только, пожалуйста, не беспокойтесь, мы, право, слово, не будем бить ею друг друга по голове — и, подсластив тепловатую водицу, начали от-

хлебывать из нее по очереди — я за то, чтобы этот Новый год оказался не последним в нашей жизни, Алексей Ильич за то, чтобы дожить хотя бы до весны. « Алексей Ильич, — бодро воскликнул я, — летом мы встретимся с вами в Мордовии, на спецу — п/я 385/10, и тогда я посмеюсь над вашим пессимизмом! Предлагаю пари на две пачки чаю ». Он подхватил в нужной тональности: « Только вашего чаю мне и будет не хватать, когда нас в наручниках и с кляпами во рту повезут в воронке куда-нибудь в лесок. Нас ведь могут вместе повезти. А что вы все — Мордовия да Мордовия, неожиданно обозлился он. — Словно, кроме мордовских, и лагерей других нет! Вся Россия в лагерях! » Напрасно я убеждал его, что государственных преступников ныне не более 2-х тысяч, он смотрел на меня все подозрительнее.

Это напомнило мне начальника струнинской милиции — он тоже был убежден, что политзаключенных во всяком случае не менее миллиона. Деталь прехарактернейшая, как и недоверчивое переспрашивание моей матушки: « Неужели тебя не били? »

« Уж не считаете ли вы меня лакировщиком советской действительности? » — завелся было я, но только начал многозначительно о том, что важно не сегодняшнее количество политзаключенных, а постоянно

наличествующая потенция многомиллионных концлагерей, когда наши вожди сочтут то нужным, — как тихонько приотворилась дверь и корпусной, за спиной которого маячили физиономии нескольких надзирателей, скомандовал громким шепотом: «Кузнецов, руки назад, за мной! — и тут же одному из надзирателей в коридоре, — Собери его вещи». Сунув в карман пачку «Памира», я шагнул к двери. «Ну, на всякий случай прощайте», — обернулся я к Алексею Ильичу — ни слова, ни кивка головою в ответ. Мелькнула мысль, что все это не более, как кошмарный сон: сводчатый потолок, новогодняя ночь, прилипший к стене комок испуганной плоти, вцепившиеся в отворот белой рубахи пальцы, страх и напряженное ожидание за стеклами очков на мясистом носу, розовые прыщи на квадратной физиономии корпусного... Но почему же без наручников?

Не помню ни сердцебиений, ни мыслей — кто-то другой, не я, неторопливо шел по коридору, заложив руки за спину, стараясь не наступать на пятки переднему надзирателю, не сталкиваться плечами с боковыми и не путаться в ногах у заднего. 4-й этаж, 3-й... Если минуем 2-й, значит... что?

Остановились на 2-м, повернули налево — к кабинету начальника следственного изолятора. Я ожил. Майор Круглов, тяжело под-

нявшись из-за стола, торжественно объявил : « По отношению к вам проявлен акт гуманности : смертную казнь вам заменили 15-ю годами заключения в лагерях особого режима. Поздравляю с Новым годом. Чего вы тут нашли смешного ? » — сурово спросил он. Я, право, не смеялся — не знаю, что ему почудилось ? Я почти не видел его, едва сдерживая слезы унижения и бешеной ненависти — к себе, ко всей этой разыгранной по чекистским нотам комедии с приговором, с новогодним подарком Деда Мороза в синих погонах... « Вы, кажется, недовольны ? » — насмешливо протянул майор. Мелькнула мысль, что он подозревает рисовку. Скорее в камеру — закурить и молчать. « Грязная игра, начальник, — проворчал я. — Какой еще гуманный акт ? Это же не помилование. Признали первый приговор несправедливым и только... Дым-щицу тоже заменили ? » « Конечно... » « Разрешите идти ? » « Да-а, — покачал он головой, подчеркнуто внимательно окидывая меня взглядом с ног до головы. — Если мне даже через 20 лет скажут, что Кузнецов исправился, я не поверю ». « И правильно сделаете ». « Вот вам телеграмма и идите ». Он даже покраснел от негодования. Неужели он полагал, что я от радости заюлю перед ним мелким бесом ?

Телеграмма была от Люси : « Смертная

заменена поздравляем Новым годом мама Люся друзья».

12. 5. Уже второй день в коридоре утром и вечером лязг дверей, беготня — похоже, парней на расправу таскают. Если это так, то завтра-послезавтра и меня повлекут в суд и тогда числа 25-го будет этап.

Уехал Карл Фрусин¹). Судя по намекам в письмах, сейчас многих отпускают в Израиль. Да и не в Израиль только — вон Никита собирается в Париж²). Неужели рухнет стена заколдованного царства? Да что же это за советская власть, если каждый может ездить туда-сюда? Так ведь никакого коммунизма не учинишь! Да я, может, такую власть полюбить готов... Разве не после того, как однажды, еще школьником, доподлинно — и, конечно, случайно — узнав, что весь мир для меня закрыт, начал я внимательно приглядываться к лозунгам, ища их изнанку? Но — нет, даже если и так, мое место в Израиле. Да и не так это вовсе: политический маневр или даже еще хуже — «окно» перед погромом (понимаемым шире, чем еврейский, — интеллигентским погромом... Что, впрочем, едва ли не одно и то

1) Солагерник Эд. Кузнецова.

2) Никита Кривошеин, солагерник Эд. Кузнецова, летом 1971 г. уехал из СССР во Францию.

же : ведь в глазах черни всякий интеллигент — если не жид, то уж наверняка жидовствующий). Нет, Россию хорошо любить издалека ! Я поражаюсь смелости обладателей заграничных паспортов — это смелость неведения. Если мне когда-нибудь неслучайно повезет, не только ноги моей не будет в социалистическом лагере, но и ни в одну из соседних с ним стран я не езду. Знал я приехавших в 40-м году в Польшу, в Латвию... — в гости к родственникам... Кого только не встретишь в лагере ? Ну конечно же, — нынче не те времена — присловье дураков, постигающих историю по передовицам « Правды » за 3 копейки. ***А ведь я таки оказался прав в споре с Бутманом, утверждая, что захват самолета — или одно лишь покушение на таковое, если оно не останется тайной, — не только великолепный пинок в мозолистую совесть кремлевских демагогов, публично отрицающих сам факт существования эмиграционной проблемы, но и шанс на свободу для многих тысяч людей. Я оказался прав. Но не потому, что моя аргументация была основательнее его — для нас, как и для всякого советского смерда, кремлевская механика — « черный ящик ». Я говорил « да », потому что двусмысленное положение внутреннего эмигранта осточертело мне, он говорил « нет », потому что отказался от участия в побеге в

Израиль — по всякого рода причинам, полагаю, личного порядка. Но кто же в такой ситуации не сошлется на общественные интересы? Мы швырнули наши пророчества в «черный ящик» и на выходе получили «да». Правда, любознательность дороговато нам обходится... Когда нет легальных возможностей пробиться к человеческому существованию, узаконенное беззаконие может быть взорвано только актом самозабвенного безумия, величайшим напряжением всех сил, а это, увы, всегда чревато притуплением нравственного чутья, это всегда переходит за черту — ту, которой очерчены формы нормального существования в нормальном государстве. Палку (опять же, — увы!) можно выпрямить только перегнув ее. Если бы этот безумный акт можно было планировать! — для этого надо быть мудрецом или сволочью. Он всегда взрыв отчаяния. То же и в лагере (нигде так не вникаешь в суть государственного устройства страны — любой, очевидно, — как в тюрьме): доведенный до отчаяния зек отрезает себе уши, выкалывает на лбу «Раб КПСС», прыгает в огнестрельную зону... и — если он не одинок — на какое-то время режим смягчает. Ненадолго, слишком ненадолго. Потом опять безграничный произвол, репрессии, издевательства — до нового взрыва. Эта страна не знает реформ не на крови.

13. 5. Утром делали обход новый начальник следственного изолятора майор Горшков и его заместитель Веселов. Когда, спрашиваю, суд будет. Не знаем, отвечают. Экая, говорю, военная тайна. Горшков искусно работает под добряка — не сразу выкуришь. После кровавой битвы с надзирателями, он вызвал меня в кабинет и, спросив, что это были за бумаги, которые я так яростно защищал (черновики писем, говорю, настроение, говорю, нервное было — показалось невыносимым, что всякая шваль сует в них нос), сказал, что будет вынужден посадить меня в карцер. Я еще не примирился с утратой (Столько обысков мимо!... И главное — записи за первые дни 71 года; что-то тогда отпустило в груди — душевный сумбур так необычно легко и естественно облекался в слова...), кровоточили ссадины на лице, болело плечо... я потребовал немедленного этапирования в лагерь, так как меня незаконно содержат в следственном изоляторе уже 5 месяцев (в качестве свидетеля меня должны были привезти из лагеря только в день суда). «Что вы все — закон да закон?... Слово первый раз замужем. Человек вы, вроде, неглупый, сами знаете: дух закона, а не буква...», — сообщил он, доброжелательно улыбаясь. Он, безусловно, умеет расположить к себе: немножко цинизма, доверительный тон общника, минимум

демагогии и официальных фраз, которые он сдобривает благодушной улыбкой человека, знающего свое к ним отношение и разделяющего его втайне, — когда бы не холодный прицел глаз, забывающих на миг об улыбке. Ну да, говорю, дух — это здорово. Если перевести, получится: КГБ вне закона, в смысле — над законом, т. е. КГБ — это та сила, которая поворачивает пресловутое дышло в нужную сторону? Не то, чтобы совсем так, не соглашается он, улыбаясь, но что-то вроде этого. Мы ориентируемся, говорит, на жизнь, от которой законы всегда отстают. Очень, поддакиваю я, верно, когда бы критерии ваших ориентаций были подконтрольны общечеловеческой морали, а не партийно-ведомственным интересам... В результате этой душевной беседы мы пришли к соглашению: он не сажает меня — за сопротивление «надзорсоставу» — в карцер, а я молчу на суде о побоях. Я, кстати сказать, и не собирался говорить о них (мне ли не знать, что такие заявления кончаются для истца в лучшем случае ничем. Лагерь меня научил не подставлять себя под удары по мелочам... а потасовка — ерунда. Я ведь сам ее затеял и вышел из нее победителем — бумаги-то им не достались).

В тот же день — 30 апреля — вызвал меня и Веселов — голубой чекист, как я окрестил за умение смущенно краснеть при

исполнении служебных обязанностей. Он считает себя представителем молодых сил в КГБ, носителем новых тенденций, суть которых мне выяснить не удалось (за отсутствием таковых). Веселов, очевидно, совсем недавно оделся в синее — напичкан мифическими сказаниями о подвигах ЧК, упоен собственной значительностью в качестве носителя ее мундира и двусмысленной славы (звонок телефона, Веселов снимает трубку, слушает несколько мгновений, потом, покраснев, вежливо спрашивает: «Вы куда звоните? — выдерживает паузу и ошарашивает, — Это КГБ». Сколько торжественности в тоне, каким произносятся эти слова, сколько откровенной уверенности, что на том конце провода человек онемел — если не от ужаса, то уж от почтения несомненно, что я замираю от удивления: передо мной представитель иного мира — священнодействующий чиновник, искренне убежденный в причастности к сокровенной сути бытия). Веселов болтал со мной о всяких пустяках, но и этих пустяков достаточно для догадки: прощупывал почву — не выкину ли я на суде какой-нибудь номер. Кроме прочего, он рассказал, что ныне расстреливают «автоматически». «Раньше из пяти карабинов заряжался только один, чтобы солдаты не знали, кто из них привел приговор в исполнение, а теперь — нажал кнопку и все». Я

поделился с ним соображением, что, приговаривая преступника к смерти, государство тем самым рождает палача, а палач это вовсе не лучше, чем преступник, он меня просто не понял — так далеко его радение о государственном благе не простирается.

14. 5. Утром сразу после прогулки посадили в « воронок » — и в суд. Пока ехали, успел перекинуться десятком слов с Иосифом ¹⁾, хоть конвой и рычал на нас зычно. В машине нас было трое: я в общем отделении, Иосиф — в правом боксе, а из под двери левого бокса торчали огромного размера башмаки — обладателем их был, по-моему, Мафцер ²⁾. Кто ты, спрашиваю, — молчит. Видать, напугали гиганта до смерти. Каким мужественным и солидно-деловитым подавал он себя на воле и каким съезжившейся жалкой мямлей предстал он на нашем суде — свидетелем. Многие теряются, оказавшись в кабинете следователя. Главное — полная беззащитность, ужасное постижение теперь уже конкретной истины: ты — ничто, коли дело коснулось « без-опасности » государства. Далеко не всякий

1) Иосиф Менделевич, также свидетель на 2-ом ленинградском процессе.

2) Борис Мафцер освобожден 2 августа 1971 г. Ныне — в Израиле.

находит в себе силы не согласиться с этим навязываемым всеми средствами восприятием себя в качестве нуля. Удивительное дело : чем респектабельнее человек на воле, тем, как правило, потерянное чувствует он себя в несчастье, чем больше почтения внушал он к себе за пределами лагеря, тем большим лизоблюдом, подхалимом и приживалой становится он в арестантском мире. Это люди случайные, не определившие своего места в советской системе, не понимающие ни сути ее, ни, главное, пределов ее власти, которая кончается там, где начинается человеческая душа, надругательству над собой предпочитающая смерть.

« На троечку мы себя все-таки вели, как думаешь ? » — спросил Иосиф. « Для первого раза великолепно », — ответил я, не кривя душой.

Можно с уверенностью сказать, что лишь одного из сотни КГБ не удастся довести до признания во всех смертных грехах и слезливого раскаяния. С этой проблемой ЧК справляется, надо признать, весьма успешно. Но чем позорнее вел себя человек во время следствия и суда, тем воинственнее он в лагере (если, конечно, слезы, пролитые на скамье подсудимых были лишь слабостью сильного человека, а не началом карьеры подлеца) : берет реванш за душевный нокдаун.

Иосиф меня порадовал. Я, говорит, ни о чем не жалею — знал, на что шел, и есть за что сидеть... Алика только и Юру, говорит, жаль. Мы с ним сошлись во мнении, что они — жертвы показухи (парадокс редчайший — пострадали за то, что неевреи). Я сказал Иосифу, что, рассчитывая получить 15, решил в знак протеста против суда над нами как над изменниками родины объявить голодовку — сразу после приговора, прямо в суде. Убежден, что кое-кто присоединился бы ко мне. Причем голодовку серьезную, многомесячную... Но высшая мера наказания сбила меня с толку: как-то несуразным показалось протестовать голодовкой против смертной казни.

Готовясь к роли свидетеля, я продумал ответы на все возможные вопросы обвинения, а их-то и не было — ни единого. Очевидно оба прокурора — Пономарев и Катукова — поняли, что лучше меня не трогать. Более того: мне едва дали договорить до конца — судья дважды сообщала: «Достаточно», — и дважды я заявлял: «Я еще не кончил».

Не удержался от упрёка своим двоюродным поделельникам — уж такой смиренный вид у них был... Надеюсь, они уловили истинный смысл моей шпильки — горечь. Объясняя суду, почему Бутман не был посвящен в наши дела, я сказал: «С некото-

рого момента я опасался уже двух комитетов — беда, когда люди берутся не за свое дело...» Кто-то из адвокатов спросил: «Первый комитет — очевидно, комитет государственной безопасности, а второй?» Ленинградский, говорю, вот этот самый.

Мы вели себя куда как побоевители. А этим я, войдя в зал, Шолом говорю, а они молчат. Стыдобушка. ***Только что виделся с Люсей — целый час нам отвалили на разговор. Всего только час плюс надзиратель под носом — гарантия, что проболтаешь о всяких пустячках, не дотянув до чего-то мало-мальски серьезного. Люся опять будет сокрушаться, что «просплетничали все свидание». Она еще не знает, что такие свидания неизбежно суесловны, они — не обмен новостями, не душевные откровения, а — жест, знак, свидетельство: мы такие же, как прежде, все главное на своих местах, сиди спокойно, дорогой товарищ, мы о тебе помним». Люся — само сочувствие, и несмотря на это, мне с ней легко.

15. 5. Написал заявление о предоставлении мне свидания с Сильвой. Это уже 6-е с января — и ни на одно мне не ответили.

16. 5. Приснился забавный сон. Кстати, в отличие от первого путешествия в страну з/к, в этот раз я очень быстро расстался со

сновидениями на «вольные» темы: сплошь лагерные физиономии и ситуации. Это не честно: и на свободе меня все лагерь донимал (до чего зато ярки и как-то безумно радостны сны в первую тюремную ночь! Я было запомнил это — когда бы меня не арестовали еще раз).

Иногда — как правило, в просоночном состоянии — меня донимают сны, которые я зову словесными, ибо в них нет ни лиц, ни вещей, ни событий — одни слова; чаще всего это обмен мудреными репликами с каким-нибудь вполне реальным человеком, но представленным во сне одним лишь своим именем: я знаю, что мой оппонент — это, например, Иванов, но самого его не вижу. Сегодня под утро я препирался всего-навсего с Господом Богом. Проснувшись, долго созерцал трещины и паутину на сводчатом потолке, пытаюсь разобраться в природе ощущения значительности каждого слова, которое и наполняло это препирательство каким-то особым, подтекстовым смыслом, загадочным и таинственно значительным. Увы, при свете утра улетучилось все глубокомыслие ночного диалога. Может, потому, что я тут же вставил его в вымышленную рамку — традиционную рамку загробных юморесок... Во всяком случае, вот он, этот ночной диалог с Богом, не обремененный ни дневной логикой, ни надуманным симво-

лизмом специально глубокомысленного творения, лишь слегка олитературенный в начале: во сне все ведь возникает с бухты-барухты, ниоткуда, чтобы провалиться в никуда — а захочешь рассказать, без вступления как-то неловко выходит.

***Пусть наука доказывает, если это доказуемо, что нет того света, пусть в некий несчастливый день она-таки это докажет... Будут знамена, иллюминация, портреты коллектива лысых ученых, высохших или разжиревших в лабораториях НИИ Безбожия, салюты и неистовое ликование толп... я в этот день заплачу. Нельзя, нельзя, буду я шептать, чтобы без того света... Или хотя бы судного дня. Миру нужен Страшный Суд, как Третьему рейху — Нюрнбергский процесс. Иначе никак нельзя... Нет уж, что вы там ни кричите, мне без того света никак нельзя. Не до личного бессмертия тут — хотя бы Судный-то день оставьте. А там будь, что будет. ***Вот наконец и Судный день. А вы говорили!... Чертовски приятно, что крылья у ангелов, пригнавших души в судилище, белые, а не голубые — мелочь вроде бы, а тоже не без влияния. Тем более, что душа теперь совсем голенькая, беззащитная, всякому пустячку кровоточащая. Когда Саваоф, пронизательно усмехаясь в кружево белой бороды, выпросил меня о всяком мною прожитом дне, то подытожил

зычно : « Нет, ты не ангел ». « Эка, — угрюмо подумал я, — стоило ли так тщательно копаться в моих внутренностях ради такого вывода? Это я и сам мог сказать с самого начала ». « Отнюдь не ангел », — подытожил еще раз Бог-Отец. « Правда, Господи, — покорно согласился я. — Однако... ». « Откуда же такая претензия и... вообще? » — не дал Он мне договорить. « Именно потому, что не ангел я, Господи ». « Ну ладно... »

Пришли с обыском. Едва успел схватить свои листки. Нить выскользнула из рук, не писать, а выть хочется.

18. 5. Свидание с Сильвой. Упование на чудо, уверенность, что нам не придется долго сидеть. Как мне это знакомо! Надо быть совсем юным и впервые попасть в тюрьму... За этой уверенностью — невысказанное изумление : за что? Меня? Такого хорошего, если разобраться, человека!...

ЧК не может без дешевых трюков. И неизбежно попадаешь впросак, каким бы стреляным воробьем ты ни был — даже заведомой сволочи веришь иногда, если она прикидывается доброй. Майор Горшков в присутствии Веселова сказал нам с Сильвой, что не ограничивает нас во времени — при условии, что мы будем избегать запретных тем (то бишь не будем говорить о нашем деле — оно ведь секретное! — обсуждать

тюремные порядки и клеветать на советскую действительность). Полагая, что времени у нас достаточно, мы перескакивали с темы на тему и только было начали весело скандалить по поводу спинозовского определения свободы, как восседавший на табурете надзиратель стер улыбку недоумения с лица и сурово объявил: «Свидание окончено». Как, возмутились мы, вы же слышали, сказал майор. Оказалось, что и слышал и не слышал. Явился корпусной и, призвав нас к спокойствию, объяснил, что он охотно верит, будто майор что-то там говорил нам, но он ушел домой и никаких письменных распоряжений не оставил. А нам всего лишь час положено на свидание. Вот так-то.

Сильва по-тюремному бледна и курит неустанно. Очень бодро и воинственно настроена. Дай Бог.

ЧК теперь далеко не та, что раньше. Я уж не говорю о 30-40-х годах, когда следователи с воодушевлением забивали людей до смерти — ради построения коммунизма. Но даже и 10 лет назад не было нынешнего цинизма — цинизма недавних самозабвенных служащих кровавого культа, а ныне всего лишь чиновников в храме, покинутом их божеством. В кабинете следователя теперь уже не услышишь о высоком счастье быть советским гражданином, о светлом

будущем человечества, которого для можно и должно многое претерпеть и т. п. (какова тут доля искренности — вопрос другой); ныне в следовательском кабинете тебя обрабатывают, как на кухне коммунальной квартиры: «Плетью обуха не перешибешь», «Зачем высоко летать? — живи себе потихоньку...» и т. д. А капитан Тотоев и того откровенней: «Я тут недавно валютчиков шерстил. Был там один парняга твоих лет — денег невпроворот, от девок отбоя нет... И какие девки! Это я понимаю! Есть за что сидеть человеку. А ты? Вся жизнь теперь, считай, в тюрьме. А за что, спрашивается? Взбредет человеку в голову — и вот он мучается сам и другим от него покоя нет... Жить вы не умеете, молодой человек, от того без тюрьмы и ни шагу!» В датском королевстве попахивает гнильцой. Со связью времен тоже плоховато. Инквизитор, усомнившийся в Боге, всего лишь аккуратно исполняющий свою работу — за жалованье, — утративший пыл ревностного служения Абсолюту — несомненный знак, что эта религия вступает в новую фазу или пришла пора нового культа. А пасомые и вовсе распоясались. Традиционная манера спора («Я тебе докажу! А не докажу, так посажу!»), конечно же, по-прежнему популярна, но уже не свергает еретиков в ужас. Теперь уже нередки пренебрежительные ухмылки идолам,

которым еще столь недавно неистово кадили и вопили осанну. Но это не нигилизм, это просто равнодушие к идеологии вообще и к официальной в частности: божок крупно сглупил, увлекшись самобичеванием, и тогда обрядность предстала во всей своей фальши и бездарной скуке. Но о переоценке ценностей не может быть и речи. До этого, я полагаю, долго еще не дойдет — нет исторически выработанного вкуса к самостоятельному мышлению. И кроме того Россия — это отнюдь не Москва да Ленинград. Вожди заметно встревожены признаками деидеологизации населения, но они сориентируются и найдут выход из положения. Правда, одним подновлением старых идолов им не обойтись. Нужен взрыв патриотизма, длительный накал страстей, хорошая чистка и энергичное внушение, что до всеобщего блаженства теперь уж и вправду совсем недалеко. Это грубые рычаги, но такие надежные, не единожды проверенные на практике, что не надо мнить себя футурологом, сердцеведом и пророком, чтобы решиться на предсказание — даже и в категорическом тоне, сколь бы не был он тебе несвойствен.

21. 5. Я в «столыпине». Мой маршрут: Горький — Рузаевка — Потьма — поселок Ударный. Спецвагон для перевозки з/к — «столыпинский вагон», как его зовут, или

просто « столыпин » — обычный, если смотреть извне, вагон — разве что разглядишь решетку за техническими стеклами окон да удивишься, что другая сторона вагона и вовсе глухая. Внутри купе превращены в камеры с решетчатыми дверьми, а вдоль окон оставлен проход для конвоя. Все, как и четыре года назад, когда я в последний раз шел по этапу. Чуть-чуть пожив в « общей зоне » (или на « общем режиме » — так некоторые з/к, те, что на вопрос: « Сколько тебе еще сидеть ? », — отвечают: « До конца советской власти », — иронически называют внелагерную зону — воля), как-то перестаешь верить в реальность неолитературенного тюремного быта или уж во всяком случае кажется, что многое должно как-то измениться, не может быть, чтобы все было попрежнему, столь же омерзительно. И вот...

« Столыпин » рассчитан человек на пятьдесят, нас же, по словам конвоя, 87. Но мне-то не тесно — я один в купе: как государственный преступник, во-первых, как особорежимник, во-вторых (впрочем, последнее не очень строго блюдетя). До Горького 3-е суток езды. Нас то и дело отцепляют, загоняют в тупики, где мы простаиваем часами — « столыпин » подчиняется особому графику движения: он обслуживает тюрьмы и лагеря; на остановках не женщины с цветами толпятся у дверей, а автоматчики с

овчарками, каждой из которых больше скармливают мяса, чем полусотне з/к.

22. 5. День другой. Пишу, пока поезд стоит. Конвой попался на удивление приличный: не беспредельничает, безотказно поит водой всех желающих, выпускает в туалет и закрывает окна только на остановках. Поэтому и скандалов, таких привычно безобразных, почти нет. Тон задает белобрысый сержант — лет 25, энергичный и неглупый. У него четко отработан подход к арестантской братии. «Ну что, бабоньки? — говорит он, благодушно похлопывая по кобуре пистолета на поясе. — Чего разорались? Воды? Сейчас устроим».

Всего три дня тому в «Известиях» появилась очередная статейка о нашем деле. Сержант, узнав, что я «тот самый Кузнецов», всякую свободную минуту торчит у моей двери — выспрашивает подробности. Газетам он, как выяснилось, не верит. Такой конвойный — первый на моем арестантском веку. Обычно это весьма агрессивные и темные парни — чаще всего из Средней Азии. В постоянных стычках с з/к они быстро наглеют, обретают вкус к безнаказности любых действий, вымогают у з/к деньги, вещи, избивают их по всякому поводу, любят хвататься за оружие, не брезгают

ни самими арестантками, ни сутенерским заработком на них...

Круглые сутки гвалт, дым коромыслом... Как всегда, все виды вагонных прелюбодеяний: вербальная мастурбация, эксгибиционизм, стриптизы при всяком мало-мальски удобном случае... Откуда-то из дальнего конца вагона каждые 2-3 часа доносится громкое откашливание, и потом весь гам перекрывает глухой размеренный голос. Текст один и тот же: «Девки! Готовсь! — не кричит, а протяжно выговаривает он. — Сейчас иду. На opravку... Девки! Не сс.ть! Сейчас вот попрошусь у начальника. Уж вы ее мне покажите. Чтоб как на ладони... Расчеши, значит... Чтоб видать, как, значит, на ладони. 13 лет не видел. Уж и забыл... 13 лет под собой человечины не чуял...» Тут включается какая-нибудь «воровайка» (она же «крадунья»): «Чего тебе показывать, петух задроченный! Пользы от тебя что?» «Не-е, я еще могу, — ничуть не смущаясь, уверяет тот. — Меня подкормить... Разок в неделю так еще отдеру, что держись только».

В соседнем купе какой-то блатарь повествует: «Откинулся я от хозяина, выпуливаюсь на свободу — на мне лепень стального цвета, колеса — кофе с молоком. В поезде делаю полковника за штуку, дальше — больше. Приезжаю в Питер — с бана на

бан, шкуры так и вьются... Потасил я одну шкуруху в Шворинский тупик, тут какой-то фуцин привязался — побил я его вроде... Просыпаюсь — что такое? Опять Кресты!» Все те же истории, десятки раз слышанные, раздражающие своей стереотипностью, цинизмом сексуально-уголовных откровений, цинизмом как обязательным компонентом любых рассказов о себе. И ничего он, видит Бог, не прикрывает — за оболочкой цинизма прячется цинизм же. Это не каторжники из «Мертвого дома», отвергнутые государством, но оставшиеся в лоне церкви — ни она от них не отказывалась, ни они от нее не отрекались, даже и в преступлении. Это советские заключенные — от христианской морали их отучили, а так называемую коммунистическую мораль они легко перетолковывают на уголовный лад (Божьи заповеди, повседневно претупаемые даже и самим клиром, все же не теряют своей истинности в глазах рядового прихожанина; моральные же заповеди, декретируемые правящей партией, не могут быть нарушены членами этой партии без того, чтобы не провоцировать активный имморализм).

Вот еще образчики арестантских историй. «Пошел я на «Чапаева». Рядом чернобурка, жметя ко мне. Ну проводила до дому. Зайди, говорит. Муж в командировке — полковник (прокурор, капитан дальнего плавания

или летчик). Она мне коньячку на стол, колбасы краковской вот такими кусками нарезала, банку баклажанной икры... Живу у нее день, другой... Она мне, сука, каждый день макароны с котлетами жарит, книжку показывает — 60 тысяч, — живи, говорит, со мной. — «Ну и что же ты?» — спрашивает кто-нибудь. «А на что она мне? — презрительно цедит тот. — Что я х..-то на помойке что ли подобрал? Лучше я под забором подохну — свобода дороже! Ну забрал там у нее, что можно было — тряпки там всякие, а донесешь, говорю, так я на суде расскажу, чтоб муж твой знал, как ты, тварь, ноги мне на плечи задираала».

«Этот раз я от души погулял — 3 месяца на воле проторчал, — рассказывает другой. — Ну чё, откинулся от хозяина, приезжаю по направлению — сразу мелодию, конечно. Проколи, говорю, начальник, воровать не буду — завязал. А он мне, как ты, дескать, разговариваешь со мной? Чё я ему буду, как комсюк что ли, лепетать — я ему на нашем рыбьем языке, так, мол, и так... Зачем ты мне нужен, говорит, ты, говорит, хитрый, а у меня тут милиционеры народ простой, деревенский. Пусть они лучше пиво пьют в рабочее время, а то лови тебя... Ну ладно, качу я в Питер, молотим мы там с одним хлопцем хату, гуляем... И надо же мне было переться по пьянке домой —

жена, два спионогрыза сопливых!... Галька мне на другой день мораль читать: работай, дескать, живи честно, человек человеку товарищ и брат... Ах ты, шкуреха, я ей, че-е-естно! А на какие башли ты мне посылки в лагерь посылала? Да ты хотя бы раз в году приходила с работы без клубка шерсти? Ты, говорю, как мой хозяин: «Трудитесь, хлопцы, живите честно!» — а сам пол производства растащил. Знаю я, что такое по-вашему честно: паши с утра до ночи и воруй потихоньку-помаленьку, чтобы не сгореть... Да я, говорю, в тыщу раз меньше вашего ворую — вы, честные! Только мне, чтоб сразу, а вы — крысы!... Ну слово за слово, х.уем по столу — врезал я ей промеж рог и ушел. Где бы, думаю, кирнуть с горя? Время около двух ночи, все закрыто, пока до бана дойдешь — там ресторан ночной — ногу по самую жопу стопчешь... Смотрю, мужик плетется — бухой, в авоське бутылка водяры да помидоры. Я его кирпичом по тыкве и на хода, а тут два мусора как раз... Червончик зарабатал... »

23. 5. Сержант рассказал шепотом, как его, тогда работника райкома комсомола в Харькове, посылали в Чехословакию. «Нас там за версту узнавали — все в одинаковых костюмах...» Ну и дурак я был, говорит, —

всему верил, а теперь понасмотрелся — с души воротит. «Так ты, — шутливо зондирую я почву, — фактическая контра». «Какая там контра? Я жертва казенщины. Сунулся, знаешь, в райком — мальчишка зеленый, идеалы там всякие... Потом, когда присмотрелся — ну и бардак! Сволочь на сволочи. И не уйдешь никак — еле-еле со скандалом. Потому меня и в армию забрили с пятого курса ВУЗа. Да еще в конвой попал. Не знаю уж, кто хуже — наш брат конвойный или блатные? В этот раз еще публика ничего, а то бывает такое, что и нарочно не придумаешь. Вон на той неделе рецидуев везли. Старшина-дубина приказал не давать им воды. Один там больной был — недержание мочи, говорит. А старшина не пускает его в уборную. Ну он нас... в ботинок и плеснул на него. Тот: «Не давать им воды, чтобы не просились в уборную». А как не давать, если они селедки обожрались — сам знаешь, сухой-то паек: селедка да черняшка... Так они чуть вагон не опрокинули — давай его раскачивать из стороны в сторону, уже колеса начали от рельс отрываться... Еле успокоили их. А тот больной все-таки испортил старшине мундир, вскрыл себе вены, набрал крови в кружку и облил его. Избили, конечно, до полусмерти».

Псков. Человек 40 высадили и столько же

загрузили. Ко мне посадили двоих. Едва я только увидел их чемоданы и мешки, сразу догадался — 58-я. У уголовников редко-редко авоська в руке или какой-нибудь узелок, чаще же всего из кармана торчит селедочный хвост, под мышкой буханка черного хлеба — вот и все хозяйство. Правда, не всегда. Во Пскове же посадили двух латышей, высоченных парней — разбойнички, как выяснилось, — у обоих по паре чемоданов. Я их тоже было за 58-ю принял сначала, а н промахнулся: чемоданы не всегда признак масти, бывает что и национальности (прибалты, западные украинцы, кавказцы).

Мои попутчики — литовцы, оба едут из Вильнюса, оба, конечно, в Мордовию, но, в отличие от меня, в лагерь строгого режима. Один из них — Бонюлис, 2-хметровый дядька за пятьдесят — сидит уже тринадцатый год. Мы друг друга, разумеется, знаем. Второй — Лейкус, приземистый, широкий в плечах мужчина, сохранивший отличную военную выправку, несмотря на солидный возраст — ему около шестидесяти. Он капитан национальной литовской армии. Защищал родину от советских освободителей, ныне опознан, уличен и осужден за «измену родине» (О, логика! О, юриспруденция! О, справедливость!) на 15 лет. Бонюлиса возили в Вильнюс для опознания

какого-то человека, участника, как и он сам, национального литовского движения — Бонюлис отказался узнать его. Литовцы в лагере ведут себя, как правило, стойко. В отличие от латышей, служаки и конформистов по природе своей. Характерно, что во время войны латыши служили или немцам или русским, тогда как литовцы дрались и с теми, и с другими, отстаивая независимость своей родины. Латышская молодежь, правда, ребята, как правило, честные — но их в лагере немного, тон задают старики. В 1967 г. один литовец (забыл его фамилию, но помню, что о нем упоминала «Хроника»), отсидев 17 лет из 25 отмеренных ему законом, поддался на уговоры ЧК написать прошение о помиловании. Он написал. Результата никакого. Земляки от него отвернулись (ведь просьба о помиловании неизбежно сопровождается отречением от идей своих и дел, поношением их и объяснениями в любви к властям предержавшим). Он дал себя убить, прыгнув среди бела дня в запретку и сделав вид, что в нескольких метрах от вышки пытается вскарабкаться на забор. Хотя поймать его было проще простого — перед ним высокий забор и еще одна проволочная запретка, а от вахты, где битком солдатни, минута ходьбы в развалку, — часовой предпочел пустить в ход автомат: раз з/к убит в запретке, убийце в любом

случае будет объявлена благодарность и предоставлен двухнедельный отпуск. Не хочу сказать, что именно из-за этого часовые, охраняющие государственных преступников, торопятся продырявить безумца или смельчака. Дело скорее всего в ином: начальство рассказывает им о нас всякие чудеса и ужасы, особенно разрисовывая нашу ловкость и всяческую умелость, тем поддерживая в них бдительность, которая в критических ситуациях перерастает в нервозность, а уродливое (в смысле — уставное) понимание долга — в боязнь совершить преступление: упустить ужасного зверя, врага советской власти, который того и гляди Кремль взорвет. Я знаю несколько случаев, когда беглецов расстреливали в упор, уже когда они, со всех сторон окруженные, поднимали руки, сдаваясь. Так было, например, с Петросявичусом Альгисом в 1958 г.: двоих, бежавших вместе с ним, убили (причем одного, взобравшегося на дерево, окружили и расстреляли, безоружного, вплотную), а его, дважды раненого, сочли мертвым — только это его и спасло: в лагерной больнице было слишком людно, чтобы прикончить его — ограничились тем, что отрезали ему правую руку по самое плечо, хотя никакой надобности в том не было (кость не была задета), и он протестовал против «операции», ибо слышал слова хирурга:

« Сделаем так, чтобы запомнил на всю жизнь ». Петросявичусу было тогда 18 лет. В конце лета 1964 г. на моих глазах был зверски убит Ромашев. Из 4-х лет срока он 2 года уже отсидел, когда от него как от антисоветчика отказались родители-коммунисты и жена-комсомолка — начальство написало им, что он не желает возлюбить советскую власть и помогать ей провокациями и доносами на своих друзей. Днем он прыгнул в запретную зону и взобрался на забор — всего метрах в 10 от вышки. Часовой, наведя на него автомат, кричал: « Убью, убью », но, дважды выстрелив в воздух, не решался расстреливать человека, который не делал никаких попыток к бегству — он просто сидел на заборе и ждал, пока его застрелят. Через пару минут с той стороны зоны сбежались солдаты, и один из них — собаковод — хладнокровно разрядил пистолет в живую мишень, даже нешевельнувшуюся под наведенным на нее дулом. Тело, зацепившись ногами за колючую проволоку, которой окутан верх забора, повисло вниз головой. Возможно, Ромашев был еще жив, но он мог умереть за те 10 минут до прихода старшины Шведа Кирилла Яковлевича. Он грубо дернул тело за руку, и оно врезалось головой в землю. Если Ромашев еще и был жив, когда висел на заборе, то удара головой о землю могло оказаться достаточным для

смерти. А что же зона? Шумела, бушевала возле запретки и была разогнана надзирателями. Потом мы — человек 10 — писали протесты и требовали комиссии из прокуратуры — тщетно.

Но достаточно. Хотел было помянуть еще об Иване Кочубее и Танашуке Николае, которых солдаты убивали чуть ли не посреди поселка, да разве обо всех расскажешь? Танашук, к слову сказать, сошел с ума, Кочубей, говорят, тоже — что, разумеется, не мешает им отбывать срок. Они симулянты-симулянты-симулянты, как тот парень (забыл его фамилию), который трижды на моих глазах прыгал в запретку — его извлекали оттуда находившиеся рядом надзиратели (это было в старом изоляторе 7-го лаг. отделения), которые знали, что он сумасшедший, не спускали с него глаз во время прогулки и предупреждали часового — вышка которого буквально в 3-х метрах от прогулочного дворика, — чтобы он не стрелял, если дурак, как они его звали, прыгнет через проволоку. За 15 суток, которые я вместе с ним сидел в изоляторе, он трижды прыгал через проволоку — надзиратель за ноги стаскивал его с забора, а часовой помогал ему, колотя «дурака» дулом автомата по лбу. Он был симулянт-симулянт-симулянт и через неделю после выхода из изолятора его убили среди бела

дня в запретке — ведь зона это не изолятор, к каждому « дураку » по надзирателю не приставишь.

30. 5. Потьма. В Горьковской пересыльной тюрьме мы просидели 5 дней, субботу провели в Рузаевке, а сегодня утром выехали из нее и ныне в Потьме. Горьковская пересылка — комплекс мрачных многоэтажных корпусов. Здания из грязно-красного кирпича всегда у меня ассоциируются с заводскими корпусами — вид их будит чувство неуютности, подавленности, как в слякоть. Эту тюрьму зовут соловьевской дачей. Легенда такова : был ее начальником некто Соловьев, который дневал и ночевал в тюрьме, считая ее чем-то вроде личного имения. Он не жалел арестантского пота, благоустраивая ее, и столь увлекся ролью полновластного и пожизненного ее владельца, что деньги за сталинскую премию, неизвестно за что полученную (об этом легенда умалчивает), истратил на устройство унитазов в камерах.

Нас пятеро на 3,5 квадратных метрах. Вся потьминская пересылка набита битком, поэтому сочли возможным соединить нас с двумя парнями, которые едут в иностранную зону — в 5-й лагерь. Один из них грек без подданства (5 лет за автокатастрофу), второй — иранец лет тридцати, учился в бакинском

архитектурном институте, получил 3 года за валюту. В соседней камере человек 6 китайцев в засаленных чуйках, с цветастыми узлами, с которыми они даже в уборной не расстаются, боясь кражи, очевидно. Тоже в инзону едут. Кричу в окно: «За что сидите?» Один отвечает: «Моя — грязный алиментщик».

Иранец прокликает тот день и час, когда решил ехать в Советский Союз, хотя признается, что ему тут было неплохо — в качестве студента-иностранца. Согласен со мной, что советский диплом имеет вес только в афро-азиатских экономически неразвитых странах. Конечно, говорит, на западе мне пришлось бы еще года 2 доучиваться, но зато советский диплом получить легче любого другого — а это кое-что все-таки.

31. 5. Ночью стоило одному трепыхнуться, как все просыпались. В лицо мне дышал грек, в затылок — иранец, ноги согревала стокилограммовая туша литовца. Ах, Россия, Россия, до чего же ты просторна, привольна да раскидиста!

1. 6. Вчера в обед увезли иранца с греком. Мы будем ждать среды. Стало попросторней. Нас четверо теперь — посадили еще одного изменника родины. Фамилии его пока не знаю, за что осужден — скрывает, сказал только, что дали 11 лет по 64-й, пригово-

рился, что был полковником, москвич — из Люберец. Антипатичен, облик партийного функционера с инженерным образованием, говорит, словно передовицу в «Правду» пишет (не поймешь, то ли доноса боится и потому выставляет себя убежденным коммунистом, то ли поистине таков). А еще он похож на изобретателя перпетуум-мобиле, не нашедшего сочувствия в БРИЗе и попытавшегося навязать свое изобретение какому-нибудь иностранному туристу, но это был такой уж перпетуум, что ему дали всего 11 лет (срок очень божеский по этой статье). Так я нафантазировал после того, как он многозначительно намекнул на свои изобретательские способности.

3. 6. Вот я и на месте. Можно сказать, дома. 14 лет предстоит мне провести здесь; разве что годика на 3 во Владимир придется отлучиться — в поисках разнообразия: надоедает, когда бьют все по одному и тому же месту...

Я на карантинном положении — один в камере. Все те же деревянные нары, двухъярусные, параша... — я ничего не забыл, оказывается! Даже грязно-зеленые стены. Знакомые лица з/к — тот подошел, тот — облысел, того согнуло арестантское время, — знакомые хари надзирателей — тот пузо отрастил, тот старшиною стал, а этот даже

лейтенантом... Я уехал отсюда 7 лет тому назад. Пронзительная тоска возвращения на круги своя. Не нахожу себе места, безотчетная раздражительность, уныние, душевная вялость. Все то же и то же... Хватит ли сил теперь? Работа-камера-работа... И главное — сокамерники... Я второй день на спецу, и второй день кто-то вопит что есть сил в окно своей камеры (похоже, из изолятора в том конце, где прогулочные дворики): «Х.й в горло Ленину!» Повопит минут 20, передохнет часок-другой и снова «борется с советской властью». Мне с ними жить долгие годы, они будут ночами дышать мне в лицо, днем включать радио на полную мощь, стучать костяшками домино, рассказывать двадцатилетней давности анекдоты, посвящать в интимные подробности своей жизни, врать, сплетничать, лебезить и ненавидеть... На одних нарах — хочешь-не-хочешь, душа наизнанку, вся подноготная наружу, из года в год все 24 часа суток лицом к лицу. Откуда взяться терпению и беспристрастности!? Я знаю их наизусть: их привычки, жесты, шуточки — все одни и те же, все по тем же поводам! — ужимки, излюбленные выражения... Все их мысли по всем вопросам высказаны лет 10 тому назад. За редчайшим исключением...

Кричу в окно знакомым (Чугунке, Косому, Люциферу): «Как жизнь?» «Ничего, жить

можно, — cedят сквозь редкие зубы ». Душевно только, говорят, тяжело. « Жить можно » — это боязливая оглядка назад, это « тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить », это не дай Бог, чтобы как недавно (с 62 по 68 годы), когда шестисотграммовая пайка продавалась из-под полы за 2 рубля.

Вчера сразу после обыска, еще не одев в полосатую робу, меня ввели в кабинет начальника лагеря капитана Колгатина. Там же был его зам. по режиму капитан Воробьев, маленький чернявый мужичок, кривоногий и шустрый. В 63 г. он был юным застенчивым лейтенантом — начальником отряда. Теперь он, чувствуется, матерый администратор, вкусивший сладости власти без пределов. Похоже, что именно он командует здесь всем. Знакомство наше свелось к перечислению наказаний, которые ожидают меня в случае нарушения любого пункта распорядка лагерной жизни. « Ставим тебе красную полосу » ¹⁾, — обрадовал меня Воробьев. За что же, спрашиваю, — я ведь пока не уличен в намерении бежать. « Нам, — отвечает, — лучше знать. И не советую. Помнишь, небось, как тут двое на заборе повисли? Автоматчики у нас мет-

1) Красная полоса на « лагерной карточке » заключенного обозначает « склонность к побегам ».

кие». Спросил, почему Мурженко по документам украинец, а Федоров — русский? А почему бы и нет, интересуюсь я. Они же евреи, говорит. Я только хмыкнул. Закончилась эта беседа следующими словами Воробьева: «У нас тут один еврей тоже есть — Бергер. Предупреждаю, чтобы никаких этих сионистских группировок не создавать, а то — 77-1»²).

5. 6. Ребята передали чаю. Соскучился я по нему ужасно. С лагерными обитателями сталкиваюсь вплотную пока только на прогулочном дворике. «А помнишь? Освобожден, умер, расстрелян, новый срок получил...» Сегодня некто Медяник показал наколку на груди — дюймовой высоты кривыми буквами сообщается: «Ищу справедливости, советской власти и законности! Долой произвол ЦК!» «Не боишься, что вышак дадут?» — спрашиваю. Оказывается, не боится, ибо за наколки уже лет 5 как не расстреливают. «Да и срок, наверняка, не намотают: они кое в чем виноваты передо мной — замать постараются».

6. 6. Отправил письмо Люсе. Эдаким бодрячком все прикидываюсь — доброго мо-

²) Статья 77-1 УК РСФСР — «Действия, дезорганизующие работу исправительно-трудовых учреждений».

лодца, де, и сопли греют. На другой день после приговора дали нам час на разговор в присутствии Круглова. Я болтал без остановки — всякие пустяки и анекдоты, лишь бы не касаться приговора — нежелание разменивать чистоту трагического переживания своей судьбы на мелочь утешительства? Быть казненным рукой советского закона — это судьба, тогда как быть советским заключенным — это не судьба, а образ мышления, за который надо расплачиваться. ***Закон есть мера политическая, есть политика» (Ленин). Не констатация печального жизненного факта, а лозунг на вечные времена. ***Тоталитарное государство еще на заре своего существования пытается вторгнуться в сферу духовной жизни человека. Ориентация на промышленный скачок (старинная и очень национальная история: человек — ничто, государство — все, которой оправдания всегда находятся) путем безжалостнейшей эксплуатации населения... Экономические рычаги слишком слабы, возникает настоятельная потребность в выявлении внутренних резервов стабилизации и усиления тоталитарного режима. Духовная сфера становится объектом грубейшего манипулирования, конечная цель которого — выведение нового человека, то есть такого, который с религиозным энтузиазмом откликается на все логуниги, выкрикиваемые вождями, готов

безропотно участвовать во всех социально-политических экспериментах, заранее согласен на все костоломные повороты во имя теории, такого человека, чье недовольство, каковы бы ни были его истинные причины, легко канализируется, направляется в нужную сторону... Впрочем, эксперименты — во многом анахронизм. О них истово толковали только в период борьбы за власть, которая и должна была дать возможность воплотить теорию в жизнь, поставить эксперимент во внелабораторных условиях, на живом многомиллионном человеческом материале, но стоило теоретикам-экспериментаторам придти к власти, как проблема ее удержания отодвинула все кабинетные мечтания на весьма второй план. На первом плане — удержаться у власти, и именно мне, а не кому-то там другому. Отныне и навсегда всякое экспериментирование подчинено лишь проблеме стабилизации власти властвующих, а отнюдь не учинению всенародного блаженства.

8. 6. Еще не знаю, как здесь поставлено дело с бумагами — очень ли охотятся за ними или так себе? По приезду у меня отобрали все мои 4 книги и конспекты. Дневники же я умудрился уберечь — лагерные навыки кое-что значат. Кстати, отображенные у меня 24-го декабря бумаги, я обнаружил в

своих вещах — видно, их даже не просматривали. Хороший знак.

Бряд ли мне удастся разработать надежную систему охраны своих бумаг. Придется все время быть настороже, полагаясь на счастье больше, чем на что-либо другое, так как угрожающие ситуации многочисленны и многообразны. Россия, по излюбленному выражению Колоди¹⁾, страна лаптей и спутников — сочетание тонкочинства и грубятины. И то и другое, к несчастью, с трудом поддаются вероятностному предвидению — в каждой конкретной ситуации надо заново оценивать расстановку сил и действовать, исходя именно из этой оценки, без оглядки на схемы. ***В вещах моих сохранился и черновик заявления об отказе от советского гражданства, написал я его 25-го декабря. Люся очень тактична и чутка, и все же я так был озабочен тем, чтобы придать разговору максимально легкомысленное направление, что заболтался и забыл самое главное: в самом конце свидания, когда угроза преждевременного прекращения его уже не страшна, я хотел сказать ей, что в случае, если кассационный суд оставит приговор в силе, я не буду писать о помиловании, а

1) Коллодий, Колодя — лагерное прозвище Владимира Тельникова, с 1957 по 1963 г. бывшего в Мордовии. Уехал из СССР 2 ноября 1971 г.

вместо этого обращусь в Президиум Верховного Совета СССР с просьбой лишить меня советского гражданства — хоть перед смертью.

Я помнил об этом все время, но свидание кончилось так неожиданно быстро, что я смешался. Самый последний момент, когда она уже шагнула к двери, еще была пара секунд для десятка слов и не начини она деланно бодро: «Я уверена...», я бы успел сказать, что не считаю себя советским гражданином и буду добиваться лишения меня гражданства, но вместо этого я, вжившись в роль человека, легкомысленно и юмористически смотрящего на свое положение, продекламировал Вийона, слегка подправив его: «Я Эдуард, чему не рад, увы — ждет смерть злодея, и сколько весит этот зад узнает завтра шея». Люся рассмеялась невесело и, сказав: «Ну зад-то у тебя еще достаточно, похоже, весит», — ушла.

9. 6. Вызвал меня некто лейтенант Пяткин. Сообщил, что он начальник отряда, в который я зачислен, лет 25-ти, дураковатый хитрец с лицом, устроенным просто, как колода для рубки дров, явный мордвин, косноязычно толкующий о русском патриотизме, о «нашей великой родине, где мы все родились». Озадачил его вопросом: будь вы отпрыском советского дипломата и доведись

вам, не дай Боже, родиться, например, на территории Великобритании, какую страну вы считали бы своей родиной? Гарантирована запись в очередной характеристике: «Задавал вопросы антисоветско-провокационного содержания!»

Пяткин рассказал, что в сентябре того года он вместе с другими офицерами и надзирателями помогал солдатам усмирять бунт в 5-й лагерной зоне — той, где сидят уголовники, а не иностранцы. Подожгли бараки, разграбили магазин, избили и выкинули в запретку повязочников, пытались совершить массовый побег... Из Москвы поступило указание не применять огнестрельное оружие без крайней необходимости — поскольку это зона общего режима и там сидят впервые осужденные за незначительные преступления. Патроны у солдат, брошенных в зону, отобрали, так что бунт был усмирён без единого выстрела, хотя приклады автоматов потрудились в тот день изрядно. Судить будут, по словам Пяткина, человек 30, из них человек 5 приговорят к расстрелу по ст. 77-1. Я не наивный читатель советских газет и потому не спросил, откуда ему известен приговор суда, который ещё не состоялся, но любопытствовал, как могут неособоопасных рецидивистов и людей, отбывающих наказание не за тяжкие преступления (будь иначе, не сидели бы они

в лагере общего режима), судить по ст. 77-1? О чем и кого я спрашиваю? Усмирять, держать и не пущать — это да, с великой готовностью, для всего же прочего, где не достаточно одного спинного мозга, образцовый гражданин мертв.

11. 6. Сегодня выгнали на работу — уже из общей камеры, из 9-й, где Юрка, Бергер (тот самый, о котором меня предупреждал Воробьев) и некто Стовбуненко. Очень странно: подельников вместе не сажают, как правило. За стеной нашей камеры кабинет цензора, он же — кабинет лагерного Кэгэбэшника, капитана Кочеткова, которого я еще не имел удовольствия видеть.

Работа физически не тяжелая на первый взгляд — шью рукавицы, — но норма фантастически велика: 75 пар. В чем, очевидно, и фокус. По закону ООР (особо опасные рецидивисты — Ред.) должны использоваться *par excellence* на тяжелых работах, но где их специально организовать (не теряя из виду экономическую выгоду) не просто, а за зону (лесоповал, каменоломни и т. п.) нас выводить режим запрещает. Приходится выкручиваться за счет завышения норм.

12. 6. Стовбуненко я немного знал еще по первому сроку. Отсидев 4 года по 70-й статье, он освободился, а в 66 г. получил 12

лет за убийство (бытового характера). Потом, уже в уголовной зоне «крутанулся» по 70-й статье. Говорит, что специально, чтобы к «своим» попасть. Утверждает, что именно благодаря его хлопотам меня посадили в 9-ю камеру. Многозначительно намекает на свою влияние. Ребята убеждены, что он работает на КГБ. Посмотрим. То, что в каждой камере есть сексот — несомненно.

13. 6. Стовбуненко 28 лет, ленинградец, тяжелая рама очков на одутловатом, в угрях, лице, восторженно болтлив, но поддается укрощению и словом и взглядом: претензия на интеллигентность обязывает читать тишину.

О Бергере я слышал давно: в 63-64 годах сидел в одной камере с его подельником Ляшенко (по кличке Курносый). Бергер сидит 28 лет, осталось еще 7. Тринадцать судимостей (говорит, что 8 из них уже сняты за бездоказательностью): грабежи, бандитизм, убийства (5 или 6). В прошлом — «вор в законе» (по кличке, конечно же, Жид), известный дерзостью, нахрапом и умением красноречиво воровать на воровских сходках. В 58 г., решив вырваться из штарфной зоны, «прицепился на подножку» к Курносому и Ультре. И тот и другой — когда-то крупные фигуры в воровском мире, из тех, кто «бушлатом толпу мимо воды

гонял и напиться не давал». Они чем-то погрешили против воровской этики (Курносый, помнится, растратил воровскую казну и, чтобы спастись от немедленной расправы, зарубил топором зам. начальника лагеря по режиму и содержался в изоляторе под следствием), их ждал нож, и они надумали «сменить масть»: переметнуться в «политические». За несколько месяцев до того в лесу, куда их гоняли на работу, но где они в качестве воров, конечно же, не работали, они нашли НТС-овские листовки — «Посев», — спрятали их и, вплоть до «побега в изолятор», делали на них маленький бизнес: время от времени по их указке кто-нибудь из фрайеров якобы находил одну-другую листовку и продавал ее КэГэ-Бэшнику за четвертную или за пачку чая. Теперь они заявили, что у них давнишняя связь с НТС, о подробностях какой-то они отказались говорить (да и что они могли сказать, если о существовании НТС вообще ничего не слышали до этих самых листовок?). Расчет простой: уехать на политическую зону, а там доказать, что они наврали — срок по 58 статье снизят до минимума, однако «политиками» они останутся, ведь достаточно и года по 58-й, чтобы пять четвертаков за убийство, грабежи и изнасилование отбывать на политической зоне: раз уж дозрел до умения, пусть и с грам-

матическими ошибками, написать на стене камеры какой-нибудь антисоветский лозунг, то должен быть изолирован от безгрешной массы просто убийц, просто грабителей и наивных насильников. Тут они промахнулись: такое за пределами доказуемости. Сейчас еще куда ни шло, но тогда всякая чушь о «связях» воспринималась с радостью: положение КГБ после 20-го съезда было шатким, и он намертво вцеплялся во всякую видимость контрреволюционной деятельности, чтобы доказать не только свою жизненную нужность советскому государству (это за пределами сомнений), сколько необходимость увеличения штатов, субсидий и полномочий, а также необоснованность некоторой брезгливости, иногда проявляемой и публично, по отношению к старым работникам бериевского аппарата.

Колодеж попросил Курносого и Ультру сообщить следователю, что он румынский шпион Бергер, а вовсе не Колодеж (с этого момента он вновь стал Бергером, признавшись, что лет 10 уже сидит под чужой фамилией) и что именно он осуществлял связь с НТС. Вся эта чепуховина из листовок, сигуранцы и НТС обошлась им по десятке. Разумеется, следователи отлично понимали суть дела... и все же...

Бергеру 48 лет, плотно сложен, энергичен, говорлив, повадки местечкового пройдохи-

хулигана. Сапоги чистит десяток раз на дню — до сияния, то и дело скребет веником по полу, вообще неуемно суетлив и, несмотря на солидный возраст, ежеминутно готов к драке.

17. 6. Некоторые особенности спеца в разные исторические периоды.

1964 г.

1) Общее количество заключенных : около 450 чел.;

2) масти : — 50 % эксуголовников, — 15 % сидящих за веру, — 30 % полицаев и 5 % чистой 58-й;

3) количество людей в камере : 12-15 человек;

4) баланда : хуже некуда;

5) ежемесячные закупки в лагерном магазине : на 3 руб. — махорку, зубной порошок, мыло, мундштуки и сапожный крем;

6) голод : за украденную пайку избивали (иногда и до смерти);

7) свидание : 4 часа в год;

8) работа : достаточно выхода в рабочую зону, чтобы не числиться в « отказчиках »;

9) стукачи : их били;

10) настроение : дух непокорства, буйства и вызова начальству.

1971 г.

- 1) 130 человек;
- 2) — 50 0/0 эксуголовников, — 10 0/0 осужденных за веру, — 35 0/0полицаяев и 5 0/0 чистой 58-й.
- 3) 4-7;
- 4) просто плохая;
- 5) на 4 руб. — конфеты «подушечка», печенья, яблочный джем, маргусалин;
- 6) хлеба хватает, но нет такого зэка, который не съел бы (в любое время дня и ночи) за один присест кило колбасы, например, — даже « третьей свежести »;
- 7) до 3-х суток, если есть родственники;
- 8) необходимо 100 0/0, иначе — карцер;
- 9) уважаемые и неприкосновенные лица;
- 10) душевная усталость, покорность и низкопоклонство.

2000 г.

(коммунизм — не совсем по Оруэллу)

- 1) 5 человек;
- 2) один иеговист, 1 православный-тихоновец, трое — Федоров, Мурженко, Кузнецов — изменников родине, вторично пытавшихся бежать за границу;
- 3) 5 человек плюс телескрин, громкоговоритель без выключателя и книжный шкаф с подшивками « Огонька »;

4) приличная, но сугубо синтетическая;
5) нет (за ликвидацией товарно-денежной системы)

6) только духовный, но и то ощущаемый лишь в редкие минуты неисправности электронных надзирателей за духовно-психическим состоянием заключенных;

7) не с кем видеться : все родные и друзья давно отказались и проклинали;

8) в наказание за нетворческое отношение к тяжелому физическому труду (только таковой исправляет политических преступников — см. комментарий к речи генсека Саваофова, произнесенной на торжественном собрании, посвященном 40-летней годовщине публичного заявления Хрущева, что у нас нет политических заключенных) 6-часовая лекция на тему : « Труд создал из обезьяны коммуниста »;

9) не нужны : вживленные в кору и подкорку электроды выдают « оперу » всю нужную информацию;

10) трудно сказать что-нибудь определенное, но преобладает, очевидно, эйфория (настроение — та область душевной жизни нового человека, которая легче всего поддается манипулированию).

18. 6. В 63 г. тогдашний синий опекун капитан Гарушкин, вызвав меня в свой кабинет в первый же день моего полосатого

периода жизни, сказал, что все мы здесь, в этом лагере, злостные враги советской власти, народ требует нашего уничтожения и то, что в других лагерях кончается 15-ю сутками изолятора, здесь приводит к расстрелу по ст. 77-1, специально для рецидивистов созданной... Расстреливали в самом деле за многое чаще же всего за отрезанные уши (особенно если на них выколота надпись типа: « В подарок съезду ») и за наколки на лице. Только в 63 г. на нашем спецу расстреляли за наколки 9 человек. Местное радио частенько радовало нас сообщениями, что и на уголовных спецзах есть успехи в воспитательной работе. Звучало это примерно так: « В лагере особого режима на Урале двое заключенных — Иванов и Сидоров — исполнили на лицевой части тела наколки антисоветского содержания. Таким-то судом они приговорены по ст. 77-1 УК РСФСР к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполнение ».

На лбу, подбородке, щеках и шее выкалывают: « Раб КПСС », « Большевики, хлеба! », « Хлеба и свободы », « Долой произвол и палача такого-то (Хрущева, Брежнева и т. д. вплоть до начальника лагеря и лечащего врача) », « Долой советский Бухенвальд! », « Смерть тиранам и произвольщикам », « За Советы без большевиков! », « Смерть жидо-большевикам » и т. п. Один

даже исписал себя частушками — на правой щеке у него, помню, было выколото: « Я Хрущева не боюсь, я на Фурцевой женюсь — буду щупать сиську я самую марксистскую ».

Вот как звучит ст. 77-1, по которой только недавно перестали судить за наколки: « Особоопасные рецидивисты, а также лица, осужденные за тяжкие преступления, терроризирующие в местах лишения свободы заключенных, ставших на путь исправления, или совершающие нападения на администрацию, а также организующие в этих целях преступные группировки или активно участвующие в таких группировках, наказываются лишением свободы на срок от 8 до 15 лет или смертной казнью ». И хотя в 4-м томе « Курса советского уголовного права » (М. изд. « Наука », 1970) на стр. 178 говорится, что « отказ и уклонение от работы в местах лишения свободы и нанесение татуировки антисоветского содержания не охватываются ни понятием терроризирования, ни понятием нападения на администрацию, а потому и не могут квалифицироваться по ст. 77-1 УК РСФСР », Бергеру и доброму десятку других осужденных по этой статье именно за наколки (себя ли они разрисовывали, других ли) отвечают на жалобы стереотипно: « Осужден правильно, оснований для пересмотра дела нет ».

С книгами здесь очень плохо. Библиотека нищенская, а через «Книгу — почтой» поступления крайне ограничены. 4-й том «Курса» я выменял у Бергера за авторучку — он расстался с ним после того, как капитан Воробьев, которому он указал выше мною приведенные слова о ст. 77-1, высмеял его, сказав: «Вам ли, Бергер, читать эти басни да еще верить им!».

19. 6. Вот приговор последнего суда над Бергером. Сохраняю все его стилистическое, орфографическое и пунктуационное своеобразие.

Именем РСФСР судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Мордовской Автономной ССР. В составе: председательствующий Котт, нар. заседатели Мардакина и Шагнева... Рассмотрев в открытом судебном заседании в поселке Явас МАССР 15-16 августа 1963 г. дело по обвинению: 1) Бергера Лейзера Ниселевича, он же Колодеж Герта Хасифовича, рожд. 1922 г., уроженца г. Кишинева, из семьи служащего, по национальности еврея, холостого, со средним образованием, ранее судимого: 22 мая 1948 г. по статье 1 ч. 1 Указа от 4 июня 1947 г. к 6 годам лишения свободы; 22 августа 1950 г. по ст. 142 ч. 2 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы; 14 января

1956 г. по ст. 1 ч. 2 Указа от 4 июня 1947 г. и ст. ст. 70 УК РСФСР по совокупности к 10 годам лишения свободы, отбывающего наказание по приговору Пермского обл. суда от 11 февраля 1960 г. по ст. 7 ч. 1 Закона СССР от 25 декабря 1958 г. «Об уголовной ответственности за государственные преступления» по совокупности приговоров срок 10 лет лишения свободы, с началом срока 11 февраля 1960 г. 2) Нефедова Николая Ивановича, рожд. 1924 г., уроженца г. Нарофоминска, русского, с 4-х классным образованием, холостого, ранее судимого: 3 октября 1940 г. по ст. 74 ч. 2 УК РСФСР на три года лишения свободы; 23 сентября 1941 г. по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы; 26 сентября 1944 г. по ст. 168 ч. 1 УК РСФСР к 2 годам лишения свободы; 20 мая 1947 г. по ст. 168 ч. 1 УК РСФСР на 6 месяцев лишения свободы; 5 сентября 1949 г. по ст. 58-14 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы; 27 марта 1956 г. по ст. ст. 58-10 ч. 1, 76 и 192 ч. 2 УК РСФСР по совокупности к 10 годам лишения свободы; отбывающего наказание по приговору Верховного Суда Морд. АССР от 13 июля 1957 г. по ст. 58-10 ч. 1 УК РСФСР и по совокупности приговоров срок 10 лет лишения свободы, с началом срока 13 июля 1957 г., обоих в преступлении, предусмотренном ст. 14-1 Закона СССР от 25 декабря 1958 г.

« Об уголовной ответственности за государственные преступления » (ст. 77-1 УК РСФСР)... судебная коллегия установила: Подсудимые Нефедов и Бергер он же Колодеж неоднократно судимые за различные, в том числе и государственные преступления, отбывая наказание в местах лишения свободы ничем положительным себя не проявили. На протяжении длительного времени злобно нарушали режим в местах заключения, отказывались от выполнения посильных физических работ, вели паразитический образ жизни. Будучи оба признанными ООР и содержась на особом режиме 10 лаг. отделения Дубравного ИТЛ, стремления к становлению на путь исправления не проявляли, напротив начали продолжать преступную деятельность. Так подсудимый Нефедов ведя паразитический образ жизни, уклоняясь от физической работы неоднократно учинял на видимых частях тела татуировки антисоветского циничного содержания, а именно: 15 ноября 1962 г. в жилой зоне 10 лаг. отделения Нефедов нанес себе на лобную часть тела татуировку дерзкого антисоветского содержания. На этот раз наколку производил заключенный Лаврентьев по просьбе Нефедова (уголовное дело на Лаврентьева выделено в особое производство). В связи с указанными татуировками за невозможностью пребывания в общей зоне, Нефедова

перевели в 25 камеру спецлагпункта, названного лаготделением. Находясь в этой камере подсудимый Нефедов 6 декабря 1962 года повторно нанес татуировки аналогичного содержания на лице. Установлено, что эти татуировки подсудимый Нефедов наносил под влиянием, ныне подсудимого Бергер он же Колодеж, который всячески после нанесения очередной наколки говорил Нефедову, чтобы последний наколол такой лозунг или призыв, который мог бы привлечь внимание более широкого круга сотрудников исправительно-трудовых учреждений. 23 марта 1963 г. в камере № 32 Нефедов вновь учинил татуировки антисоветского содержания, порочащие одного из видных деятелей коммунистической партии («Хрущев, хлеба!» и «Долой хрущевскую демократию», — прим. Э.К.) и советского государства, а также содержащие призыв к свержению существующего строя в нашей стране («Долой советский Бухенвальд!» — Э.К.). Татуировки антисоветского содержания на лице подсудимого Нефедова сохранились до настоящего времени.

Наряду с этим, Нефедов будучи в местах заключения, написал множество писем и заявлений в Советские партийные органы нецензурного и циничного содержания, которые свидетельствуют о явном неуважении к существующему в нашей стране строю и

нежелании заниматься общественно-полезным трудом.

Подсудимый Бергер, он же Колодеж, будучи враждебно настроен к лагерной администрации и в целом к проводимым мероприятиям партии и правительства по перевоспитанию осужденных, грубо нарушал режим в местах заключения, провоцировал заключенных противодействовать лагерной администрации по перевоспитанию и исправлению заключенных. В этих же целях Бергер распространял антисоветские листовки. Кроме того, склонил нынче подсудимого Нефедова к нанесению татуировок на лице, а осужденному Парахневич отчленил ушные раковины в декабре 1961 г. при следующих обстоятельствах: в декабре 1961 г. Бергер содержался в камере № 34 вместе с Парахневичем и Кулагиным, 20 декабря 1961 г. в уборной прогулочного дворика Бергер по согласию Парахневича отчленил ему остро-режущим предметом ушные раковины. В крови с обезображенным лицом Парахневич появился среди заключенных, тем самым оказывал на них разлагающее влияние. Бергер впоследствии оповестил заключенных, что он отрезав уши Парахневичу «подкеросинил» администрацию.

Допрошенные по существу предъявленного обвинения, подсудимые: 1) Нефедов на предварительном следствии и в суде винов-

ным себя признал полностью и пояснил, что 15 ноября 1962 г. по его просьбе татуировку антисоветского содержания ему сделал Лаврентьев в знак протеста того, что ему администрацией не была начислена зарплата за период с июля по ноябрь 1962 г. за выполненную работу. Однако этот довод не состоятелен и не может быть принят судом во внимание. Последующие татуировки — 6 ноября 1962 г. он нанес по подстрекательству со стороны Бергера, однако отрицает, что Бергер непосредственно сам наносил эти татуировки антисоветского содержания, тогда как на следствии Нефедов говорил обратное. 23 марта 1963 г., как разъяснил Нефедов, татуировки ему наносил Багаутдинов и Мануйлов-Морозов (оба они привлечены к уголовной ответственности и дела на них выделены в особое производство) и что татуировки он наносил с той целью, чтобы не выходить в дальнейшем на работу.

Кроме личного признания виновность Нефедова в содеянном доказана самим фактом наличия на его лице татуировок антисоветского характера, актом медицинского освидетельствования, показаниями свидетелей..., а также материалами дела. Факт ведения паразитического образа жизни Нефедовым подтверждается теми данными, что за период с июля 1962 г. по март 1963 г. на содержание Нефедова затрачено государ-

ством 352 р. 77 коп. в то время, как им не заработано за указанный период ни одной копейки. 2) Бергер, он-же Колодеж, как на предварительном следствии, так и в судебном заседании в содеянном виновным себя не признал, утверждает, что дело против него сфабриковано и никакой основы под собой не имеет. В частности отрицает, что Нефедову наколки антисоветского содержания наносили без его, Бергера, участия, что изготовлением он не занимался, Парахневичу ушные раковины не отчленил и никаких провокаций, направленных на дезорганизацию правильной работы исправительно-трудового учреждения не чинил. Однако, вина Бергера, он-же Колодеж, доказана следующим: подсудимый Нефедов подтвердил, что никто иной как Бергер подстрекал его сделать такие наколки антисоветского содержания, чтобы администрация и более широкий круг сотрудников могли обратить на это внимание. Что после произведенных наколок Бергер учил Нефедова как себя вести, если обнаружит надзор состав эти наколки. В день наколок не разрешил ему, Нефедову, выходить на прогулку, а если спросят, говорит, якобы накололся сам с помощью зеркала. Он-же Нефедов подтвердил, как Бергер будучи в камере рисовал карикатуры, извращающие советскую действительность (sic!), и предлагал ему, Нефе-

дову, как только выйдет за пределы камеры расклеивать эти листовки на видных местах.

Свидетель Курников (по кличке Гитлер — лжесвидетель на 6 процессах, — Э.К.) подтверждает, что Бергер находясь в его бригаде к работе относился плохо, занимался вредительством, вместо глины привозил землю смешанную с камнями. Открыто заявлял, «Я не ваш человек и работать на вас не буду». Факт отчленения Парахневичу ушных раковин Бергером подтверждается следующими доказательствами: сам Парахневич, допрошенный много времени спустя, хотя и отказался дать по существу показания, однако в частной беседе заявил, что ему уши отрезал Бергер.

Свидетель Киенко подтвердил что вскоре после отчисления (sic! — Э.К.) ушных раковин, когда он начал оказывать ему медицинскую помощь, Парахневич на его вопрос ответил, что уши отрезал ему Бергер. И далее Киенко пояснил, что Парахневич слабонервный человек, очень многих заключенных просил, чтобы ему отрезали уши и поэтому считает маловероятным, чтобы Парахневич сам себе отрезал уши. Кроме того Бергер впоследствии в разное время говорил заключенным, что уши Парахневичу он отрезал ножом, причем с его слов одно ухо пришлось отрезать с куском мышечной ткани шеи, так как глубоко вошел нож, что

соответствует действительным обстоятельствам дела, нашедшим подтверждение о том, что Бергер вел паразитический образ жизни. Об этом говорит то, что за период с января 1962 г. по март 1963 г. на содержание Бергера затрачено государством 609 р. 17 к. в то же время как Бергер заработано в это время лишь 7 р. 72 коп.

Как Нефедов, так и Бергер, он-же Колодеж, на меры воспитательного и длительного воздействия не реагировали и на путь исправления становиться не желали.

Предъявленное обвинение Бергер, он-же Колодеж в том, что он склонил заключенного Подцветова к нанесению татуировок антисоветского содержания, и что он систематически подстрекал Власова к членовредительству, достаточного подтверждения в суде не нашло и поэтому подлежит исключению из его вины. Уличающие показания Власова против Бергера суд расценивает как оговор, других же доказательств его, Бергера, вины в этом не добыто.

Судебная коллегия *приговорила*: Признать виновным и подвергнуть наказанию Нефедова и Бергер, он же Колодеж, по ст. 14-1 Закона СССР от 25 декабря 1958 г. (ст. 77-1 УК РСФСР) к санкции, которой Нефедова подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу (он расстрелян, — Э.К.); Бергер — к 13 годам лишения свободы с отбыванием

первых 3 лет в тюрьме, оставшегося срока в исправительно-трудовой колонии особого режима — с частичным присоединением неотбытого наказания — к мере наказания по настоящему приговору — 15 лет лишения свободы.

20. 6. Я десятки раз был свидетелем самых фантастических самоистязаний. Килограммами глотают гвозди и колючую проволоку; заглатывают ртутные градусники, оловянные миски (предварительно раздробив их на «съедобные» куски), шахматы, домино, иголки, толченное стекло, ложки, ножи и... что угодно; заталкивают в уретру якорь; зашивают нитками или проволокой рот и глаза; пришивают к телу ряды пуговиц; прибивают к нарам мошонку и, проглотив сделанный из гвоздя крючок, прикрепленную к нему бечевку привязывают к двери, чтоб ее нельзя было открыть, не вывернув «рыбу» наизнанку; надрезают кожу на руках и ногах и снимают ее чулком; вырезают куски мяса (на животе или ноге), жарят их и поедают; напускают в миску кровь из вскрытой вены, крошат туда хлеб и съедают эту тюрю; обложившись бумагой, поджигают себя; отрезают пальцы рук, нос, уши, penis... всего не перечить. Но, право же, вблизи все эти кровавые фокусы не столь ужасают, как в подаче какого-нибудь

кипящего праведным гневом самоиздатчика: вырванные из тюремного контекста, очищенные от шлаков повседневности, самоистязатели предстают неким символом мученичества, награждаются ореолом чистого страдания. Трагические жертвы режима, травимые, преследуемые, доведенные до последних степеней отчаяния, испробовав все другие формы протеста против беззакония и произвола тюремных и иных властей, прибегают наконец к самоистязанию. Этакое одномерные, вырезанные из патетического картона фигурки страдальцев. За редчайшим исключением, самоистязания — отнюдь не форма протеста (в смысле сознательного протеста), это, как правило, способ «урвать кусок» от жизни: попасть на больницу, где сестрички так лихо виляют бедрами, где дают больничный паек и не гоняют на работу, добиться получения наркотиков, диетпитания, посылки, свидания с заочницей и т. д. Более того: многие из этих страдальцев очень похожи на мазохистов, пребывающих в состоянии депрессии от кровопускания до кровопускания; у некоторых ярко выражены дегенеративные признаки (например, понижение порога болевой чувствительности кожного покрова тела). Правда, не уверен, не противоречит ли психическому складу мазохиста то, что в большинстве самоистязатели — это агрес-

сивные, неумно хищные натуры. Начинают они с того, что в бессильном гневе бушующие в них инстинкты разрушения, приступы ненависти и горячечные мечты о мести какому-нибудь начальнику, до горла которого не дотянуться зубами, обращаются на своих носителей. Так они начинают, а кончают тем, что самоистязание становится для них потребностью, удовлетворение которой (как припадки истерии у истериков) расчетливо приурочивается к наиболее удобному для « урывания куска » моменту. Но это начало и конец, а есть еще растянутая на многие годы середина, на которой некоторые застревают. « Середнячки », в отличие от профессионалов, еще мало думают о выгодах кровопускания, отнюдь не виртуозничают, самоистязание их носит характер припадка, но уже с зачатками расчета. Например, получив неблагоприятный ответ на просьбу (« Всем дали сапоги. Мне не дали сапоги. Прошу выдать сапоги — заявление »), « середнячок » с неделю брюзжит, все более распаяя себя, потом пишет: « Я требую изменить Конституцию СССР » и в подкрепление этого требования глотает пару ложек, ему вскрывают желудок и извлекают их, он, едва откатят его от операционного стола, проглатывает какой-нибудь градусник — и так до тех пор, пока ему не дадут новые сапоги.

21. 6. Еще о самоистязателях. В массе своей это люди не просто малограмотные, но настроенные враждебно ко всему, носящему печать иной, незвериной жизни. Характерно, что чаще всего именно в тюрьме, в изоляторе и на спецу сталкиваешься с самоистязаниями: в отличие от открытой лагерной зоны, многолюдной, с ее группами и группками, картами, дурью, морфием, шеллаком и таблетками, камерные стены — непосильное бремя для ориентированного вовне. Именно в камере его начинает терзать мысль, что жизнь уходит — и уходит впустую. Это самая мучительная для з/к мысль. Вот он мечется по камере и день, и два, и тысячу — еще молодой, еще ловкий и энергичный, чувствующий в себе силы совершить, что угодно... Жизнь уходит, 10 лет отсижено, 15 впереди, никаких надежд, никто его не замечает — его почти нет, если все кругом не ходит ходуном. «Начальник, — стучит он костяшками пальцев в кормушку, — дай иголку: надо рубаху зашить». «Не положено», — бурчит тот в ответ. Опять стремительные броски из угла в угол, руки за спиной, брови сдвинуты к переносью, взгляд скользит с предмета на предмет, ничего не видя, губа закушена... «Начальник! — барабанит он в дверь. — Сходи в двойку — там мне Иванов конверт должен: надо старухе письмишко намолотить — хай сухарей да

сала вышлет...». « Не положено », — все так же механически угрюмо бурчит надзиратель. Через пару минут: « Начальник! Старшой! Возьми в тройке махорки — курить нечего! » « Не положено ». « А-а! — бьется он всем телом о дверь. — Врача вызывай! Я тебе дам "не положено"! » Отбив о дверь руки, ноги и голову, он вскрывает себе вены — наконец-то беготня, врач, носилки... Наконец-то жизнь похожа на жизнь. Он — центр событий, он — личность, с которой носятся, которую ругают, бьют и лечат (впрочем, вот уже лет 7-8, как вскрывающий вены попадает после перевязки в карцер, вместо больницы. А рецидивист может быть судим все по той же 77-1).

Лишь в редких случаях самоистязание является сознательным протестом — против ли самого духа беззакония и произвола, которым пропитана тюремно-лагерная атмосфера, против ли того или другого единичного акта надругательства над справедливостью. Вообще же говоря, почти всякое нарушение режима — форма протеста, иногда дикого, безобразного, но и то, против чего он направлен (пусть и неявно), не менее дико и безобразно.

Интроверту легче — стены его не давят.

Не всякому удастся подняться над каждодневным безобразием тюремных порядков,

не всякому дано, даже протестуя против него, сохранять свое человеческое лицо. Каким бы пустяковым, неосновательным до изумления ни был повод для бунта, в основе его — многолетний гнет и втоптывание в грязь личности (все-таки личности, сколь бы ни была она мне чужда преимущественным типом проявления ее стремлений к самоутверждению). Я тут выступал с позиции алчущего тишины, с позиции книгопожирателя — будто бы единственно истинной. При всяком вынужденном общежитии обоюдная неприязнь, мягко говоря, неизбежна. Человек, встречайся ты с которым раз в неделю, был бы тебе добрым знакомым, в камере — твой личный враг, хуже чекиста, ибо чекиста ты видишь редко, а его — каждую секунду. Вот он ходит, ходит и ходит, бормоча: «Ладно, большевики, я вам устрою... устрою... устрою... Вы у меня забегаете». И начинает мастерить из простыни веревку. «Хлопцы, — обращается он ни к кому и ко всем, — если что, то снимите». Привязав веревку к оконной решетке, он прикидывает ухом к двери, выжидая, когда надзиратель направится к нашей камере. Расчет прост: за мгновение до того, как откроется глазок, он захлестывает на горле петлю и спрыгивает с койки, надеясь, что надзиратель успеет спасти его. Расчет столь же прост, сколь и ненадежен: надзиратель может

почему-либо не заглянуть в глазок. Отсюда «Хлопцы, если что...» А «хлопцы» сидят и думают: «Да когда же ты, скотина, повесишься, наконец?»

22. 6. Мученик это еще не все, этим человека еще не определишь, мученик — он же и мучитель подчас. Лишь из абстрактного далека всех страдальцев слезой сочувствия омыл бы... А вблизи — если бы не эта манера размахивать руками, не эта ухмылка, так раздражающая черт знает почему... И такая мелочность, низменность непосредственных целей, ради которых совершается самоистязание... И более важное: подавляющее большинство заключенных — случайные жертвы режима, на самом деле плоть от плоти его. Им далеко до неприятия его в сути. Ими правят обстоятельства. Они могли бы быть и надзирателями, но обстоятельства сложились так, что они стали заключенными, их мучают в качестве заключенных, но и сами они неустанно ищут более слабых. Когда холодной лунной ночью мимо тебя по улице, идущей в гору, пробегают человек, за которым гонится другой, и ты не знаешь... — это крайность грустная, ибо за ней болезненная потеря веры даже в случайную возможность блага от поступка, продиктованного «первичным» душевным порывом. Но вот камерная ситуация: силь-

ный бьет слабого. Помочь только потому, что он слабый? Но всего лишь вчера он сам бил слабейшего и... завтра будет бить. Грызутся звери.. О, если бы, говорю я, оказаться по ту сторону решетки, всей этой решетки, — как в зоопарке. Но радоваться тут нечему. Да спасет меня Бог от умения холодной рукой ставить крест на ком-либо. Все-таки сочувствуешь слабому зверю, сочувствуешь и лезешь в его защиту, надеясь, что он сбросит звериную шкуру... И вечно обманываешься. И все же нельзя, исходя из холодной уверенности в завтрашнем зле, спокойно смотреть на сегодняшнее. Завтра — всегда проблематично, сегодня — явь, в которой надо участвовать и не столько ради общего завтра (неопределяемого ни наивным, ни диалектическим оптимизмом приверженцев добра ради всечеловеческого счастливого будущего), сколько ради себя в завтра.

Черт возьми! Дело уже к отбою, а я так и не исчерпал тему. Временные ресурсы минимальны. Только воскресенье практически. Нет ни времени, ни сил на поиск точных формулировок — пишешь с разбегу, урывками и тайком. Тема эта (о самоистязателях) не простая — обязательно вернусь к ней попозже. Мне смешны сентиментальные всплески руками, но и подалее от крайностей объективизма с его бездушными ярлыками, развешивание которых неизбежно

сопряжено с приданием угловатому, корявому явлению обтекаемой формы. Упущенные или едва намеченные аспекты темы (учесть!): отрезающий от себя куски мяса хотел бы отрезать их от врагов своих, но не может или не осмеливается на это и пожирает в бессильной ярости себя; что, впрочем, ни чуть не облегчает вины палачей; укушенный собакой не имеет права становиться на четвереньки и кусать ее в ответ — есть человеческие способы отражения собак; условия, поощряющие низменные инстинкты; китайская месть: набрать в рот говна и плюнуть в лицо врагу; разговор в 1969 г. с экзальтированной девочкой о «фюрере» демохристиан Огурцове И.В.¹⁾, с которым я сидел во Владимире («Ну и как вы с ним?» «Да ничего, раза два, правда, чуть не до драки разругались, но расстались тепло». «Неужели идеологические разногласия достигали у вас такой остроты?» «Какие там идеологические разногласия? Раз — из-за махорки, другой — из-за параша»); принципиальная противоестественность жизни на виду у всех; недовольство властью лишь потому, что тебя не подпускают к пирогу;

¹⁾ Об Огурцове, руководителе Всероссийского Социал-Христианского Союза освобождения народов, см. Хр. № 1, 19; В. Н. Осипов. «Площадь Маяковского, статья 70».

Брюховецкий, поджигавший себя, ныне работает пожарником на 3-ей зоне (найти описания аналогичного случая в Германии: Гитлер назначает самоподжигателя начальником пожарной команды. В «Науке и религии» ?); лагерное преломление проблемы: доступ относительно широкой прослойки населения к предметам потребления, ранее символизировавшим принадлежность к партийно-государственной элите, не означает уничтожения фактического неравенства, но говорит лишь о степени участия советского обывателя в системе мероприятий, направленных на стабилизацию режима путем более утонченной маскировки элитарных привилегий; белорусс, который боялся изнасилования и привязывал на ночь фанерку на задницу; голодовка — тоже самоистязание, дело, следовательно, не столько в форме протеста, сколько в соотношении его с общим духовно-интеллектуальным обликом субъекта и его целями; крайние формы самоистязания — кошмар, пусть и не провоцируемый непосредственно условиями жизни в тюрьме; такая форма протеста (при всех но) все же лучше — в некотором смысле — «европейских» способов борьбы со злом, борьбы рационального с иррациональным, законнического с беззаконием по сути, — ибо приходится принимать правила игры (не настоящие, внутренние, но декла-

рируемые во вне, камуфляжные) « чужого монастыря » и уже одним этим оправдывать существование его устава, но кошмар на кошмар, иррациональное на иррациональное — это взрыв изнутри, это тяжело предусмотреть и включить в систему; коварство « естественного права » на противозаконные (в общечеловеческом смысле) средства, когда несостоятельность легальных средств очевидна...

27. 6. На днях меня прямо с работы вызвали в кабинет начальника лагеря, где и состоялось знакомство с заместителем председателя КГБ Мордовской АССР подполковником Блиновым, кряжистым синеглазым мужичком, неуклюже и сурово восседавшим за столом. Присутствовали еще трое в цивильном — далеко не столь солидные, как Блинов, подсюсюкивали и подавали ему реплики. На предложение рассказать о нашем деле я ответил отказом — можете, де, ознакомиться по официальным источникам, — рассуждения о матери-родине не совсем деликатно прервал заявлением, что своей родиной считаю Израиль, а СССР для меня синоним тюрьмы. Пытались пристыдить меня за нежелание пребывать в русских, спрашивали о национальности Юры и Алика. Воспользовавшись моментом, я высказал соображение такого рода: « Вы

отлично знаете, кто они, но приказали своим ребятам — уголовникам и полицейам — распустить слух, что Федоров и Мурженко евреи — и теперь они, как и я, «жиды» со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Все-таки вышколенные нынче ребята в КГБ — еще пяток лет назад я бы непременно услышал: «Попадись ты мне в году пятидесятом...», а сегодня такое прочтешь разве только что в глазах. Но что будет завтра?

29. 6. Понемножку собираю всяческие данные об обитателях спеца. Составил было анкету из 95 пунктов — увы, она нереальна, в чем я убедился очень быстро: здесь все так прогнили, что стоит задать два вопроса подряд, как возникает угроза разоблачения и доноса.

Ограничусь десятком основных вопросов, ответы на которые можно получить сравнительно безопасно (ценностные ориентации, сопоставление вербально выраженных установок с реальным поведением... и т. п. — отложить на будущее, так как это требует массу времени). Очень жаль, что с прошлого года перестала выходить управленческая многотиражка «За отличный труд». Прелюбопытная, помню, была газетенка: из-под дерюги примитивнейшей, грубейшей и наив-

ной до умиления демагогии такие углы выпирали! Не потому ли какой-нибудь постолитичному выученный идеолог-контролер и прикрыл ее? А я еще в Большом Доме наметил ее для контент-анализа: явные и подсудные представления редакции и корреспондентов о национально-социально-духовном облике хорошего и плохого з/к и т. п.

1. 7. Отправил Сильве письмо — наугад, так как еще не знаю, приехала ли она в Мордовию. С сегодняшнего дня работаю на прессах. Это самая тяжелая из здешних работ. Пытался отговориться близорукостью — тщетно. Узнал по секрету, что управление приказало впредь использовать меня на самых тяжелых работах. Прессы допотопные, нормы дикие — ничего удивительного, что добрая дюжина з/к только за последние два года осталась без рук.

Нам троим создали особые условия: всякий наш шаг под усиленным контролем, к каждому из нас приставлен десяток стукачей. Трудно отличать просто подлость от провокаций. Нужно найти форму осторожности, которую не принимали бы за слабость, иначе конец: любителей чужих шей не оберешься.

5. 7. Бергер, живописуя свои блатные подвиги, ревет — аж стекла трясутся. Но более

всего он неистовствует, когда рассказывает о том, как его судили в 1962 г. « Кто свидетели? Тот полицаи, тот педераст, тот кумовский работник — и все до одного позорные антисемиты! Жид им сто лет поперек горла торчит! Вызывают Могилу... Ну, думаю, мразь, еще ведь и полгода не прошло, как я тебя от Гитлера спас (он ему кирпичом в висок метил). Ах ты тварь, говорю, ты что там на меня налил? А он: « Кому ты веришь? Чекистам? Век мне свободки не видать... » Прокурор зачитывает его показания: терроризировал, отрезал уши, подстрекал и т. д., а Могила ни в какую: не говорил, мол, этого и хоть ты тресни. Судья его было стращать, ну тут я как заору: « Вам что — еще один процесс Бейлиса нужен? Ритуальное преступление шьете? Не ем я христианских ушей! Поняли? Не ем! Не выйдет! Вы уже сотни Нефедовых расстреляли — на Бергере сорветесь! » Судья: « Успокойтесь, Бергер, успокойтесь, — потом спрашивает Могилу. — Вы давно его знаете? » Тот: « Давно ». « А что из себя Бергер раньше представлял? » « Да как вам сказать, уважаемый гражданин судья, — Могила ему. — Вы так Сталина не боялись, как боялись Бергера на Дергачке, например. Там его слово было законом »...

15. 7. Вчера виделся с Люсей и Виктором¹⁾. С Виктором дали всего 20-минутное свидание. Как всегда, надули : сказали, что дают 4 часа на свидание с теткой, а потом без предупреждения урезали на половину. Провокация чистой воды. Не дали даже пачки сигарет, а полицаи выносят со свидания пуды сала.

Сегодня вызвали меня с работы и как есть чумазого ввели в кабинет начальника лагеря : из 2-х в штатском один оказался майором Лесниковым, начальником Ленинградской следственной группы, занимавшейся нами. Все одно и то же : прощупывание настроения, заезды издалека под раскаяние, посулы, угрозы. Почему, спрашиваю, украли у меня вчера 2 часа свидания — пленка что ли кончилась? Да нет, пленки, говорит, у нас хватает. Это, поясняет, намек тебе : веди себя хорошо — и все будешь иметь. Как, спрашиваю, хорошо? Сотрудничать с вами или, может, в « Известиях » всю « правду-матку » изложить? « А почему бы и нет? » — ласково так улыбается он. Тут я вспомнил, что ребята там чай заварили, того и гляди выпьют там без меня... Ну, говорю, я пошел — работа не ждет... « Так как же? »

1) Виктор Хаустов, — близкий со школьных времен, друг Эд. Кузнецова. Участник демонстрации в январе 1967 г. на Пушкинской площади.

— не отстает майор. Вспомнил я лагерные наблюдения: кто резко говорит чекисту «нет», того он не пытается вербовать, тогда как всякая уклончивость двусмысленна, — и решил не церемониться. Не знаю, говорю, правда или нет, но рассказывают, что чехи провозгласили такой печальный лозунг: «Пусть нас с-ут, но подмахивать мы не будем», — в ближайшие 15 лет это будет и моим лозунгом. На том и расстались.

Вечером я, возвращаясь с работы, самовольно влетел в кабинет Колгатина. Диалог:

Я: — Почему мне сначала дали 4 часа, а потом...?

Он: — Я вам с самого начала подписал два часа.

Я: — Дежурный офицер сказал, что 4.

Он: — Этого я не знаю.

Я: — Почему именно 2, а не 4? Я ведь никаких взысканий пока не имею.

Он: — Но ничем хорошим себя и не зарекомендовали.

Я: — Когда у меня будут заслуги, вам придется меня чем-то поощрять. 4-часовое же свидание предусмотрено законом, и сократить его можно лишь в качестве наказания. Так за что? Физиономия моя вам не нравится или, может, цвет лица?

Он: — За такой тон я мог бы сразу оформить вас на 15 суток.

Я (подчеркнуто четко и напористо): —

Запомните, начальник, еще пара таких провокаций, и я сдохну, но укажу вам ваше место! Я ожидал, что нажмет кнопку под столом и меня утащат в изолятор, но он как-то растерялся, заюлил глазами и сказал, что это не он, что это приказ сверху.

Администрация еще не нашла нужного тона в обращении с нами. Этому мешает поднятая вокруг нас пыль, в которой слишком назойливо мелькают синие погоны. Любопытно, что их (администрацию) намеренно дезинформируют: рассказывают о наших связях в ЦРУ и Шин Бет, о том, что по нашему делу расстреляли шестерых (слова замполита старшего лейтенанта Лосева — по его уверению, так сообщили им во время специальной лекции в управлении). А недавно по местному радио читали статью, опубликованную в спецжурнале для работников МВД «К новой жизни» — роман да и только.

20. 7. По вошедшему в силу в 1969 г. закону рецидивисты, отсидевшие треть срока, должны содержаться в бараках обычного (открытого) типа, а не в камерах. Сегодня на работе Колгатин, отвечая на вопрос Бергера, почему нарушается этот закон, сказал, что мы особый лагерь, и у нас свои законы. О нарушении же данной статьи знает сам Руденко — так что все, дескать, в порядке.

31. 7. Писать все труднее — устаю очень. Всякий день надо решать мелкие проблемки — удачное решение их мало что дает, хотя и выматывает предельно, промахи же болезненны. Типичный пример. Репейкину кто-то сказал (кто именно, он скрывает), что я хочу его избить, за что — не ясно. Я его, собственно говоря, и узнал-то только после того, как меня спросили, за что я собираюсь его избить. Пошел к своей «жертве» объясняться, она от меня бегом. А вечером Воробьев сказал, что посадит меня в одиночку, если только я осмелюсь приблизиться к Репейкину. Очевидная нелепость ситуации никого ни в чем не убеждает. Важен донос, а все остальное — так себе.

6. 8. Вызвал капитан КГБ Кочетков. Явно в связи со вчерашним вызовом Алика: пытался его завербовать — сперва льстил и доказывал, что ему, украинцу, с евреями не по пути, потом обещал досрочное освобождение (лет через 8). Кроме прочего, сообщил по секрету, что я и Юра давно предлагаем ему свое сотрудничество, но он наши предложения отклоняет, так как мы люди несолидные и не внушаем ему доверия. Закончил он угрозами скомпрометировать его, а когда и это не оказало должного действия, сказал, что создаст такие условия, что нового срока не миновать. Алик взбеленился и заявил,

что ему нечего терять, и он сумеет броситься в пропасть в обнимку с тем, кто его в нее сталкивает. Кочеткову, видно, важно было выяснить, пересказал ли Алик нам вчерашнее.

Он : — Что это вы все с протестами какими-то? Все вам не нравится.

Я : — То есть ?

Он : — Да вот ваше заявление о конфискации писем.

Я : — Уточняю — незаконной конфискации. Здешняя администрация страдает комплексом провинциализма : стоит им увидеть в письме иностранное слово, как им чудится черт-знает что...

Он : — Передайте Мурженко, что я забыл его угрозы. Погорячились мы оба...

Я : — Зачем же было так грубо вербовать человека ?

Он : — Вербовать ? Может, скажете, что я и вас вербовал ?

Я : — Нет, зачем же. Но и свои услуги я вам не предлагал. Или вы и этого не говорили Мурженко ?

Он : — Ну и выдумщики вы ! Да зачем вы мне нужны ? У вас такие сроки — слишком хлопотно с вами связываться.

Я : — Казалось бы, наоборот : большой срок гарантия верной службы.

Он : — Не всегда. Вас быстро разоблачат, и вы будете балластом на нашей шее : будете

требовать льгот, помилования и т. п., а толку от вас никакого.

Я : — Ну мне-то это не грозит.

Он : — А зря вы так настроены. Я ведь могу вам и насолить.

Я : — Например ?

Он : — Буду вас вызывать к себе каждый день — все решат, что вы стукач.

Я : — И только ?

Он : — Включу вас в списки лиц, намеченных к вывозу на строгий режим. А так как вам до половины срока далековато, все поймут, что вы мой работник.

Я : — Мои друзья этому не поверят, а остальные меня не интересуют. Оно бы даже и к лучшему: тут такая зона, что даже мнимое сотрудничество с ЧК может огордить человека от многих неприятностей. Так что действуйте. Кстати, как вы сочетаете такие методы работы с законом ?

Он : — Закон законом, а жизнь жизнью. Диалектика ! Иногда для соблюдения закона нужно отступить от него.

Я : — Иногда ? А кто дозирует ?

Он : — Вы на спецу, а не где-то там. Тут не исправительное заведение, а карательное. Наше дело — согнуть вас в дугу, чтобы шелковыми стали. Ясно ?

11. 8. Решили написать обращение к У Тану. Остановились на моем варианте. Прав-

да, не исключено, что У Тан уйдет с поста генерального секретаря ООН. И тогда личная форма обращения к генеральному секретарю неудачна. Но это не суть важно. Вот текст «Обращения», подписанного не только мною, но и Федоровым и Мурженко.

*Генеральному секретарю ООН г-ну У Тану
Обращение*

(Эпиграф: «...Необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях обеспечения того, чтобы человек не был вынужден прибегать в качестве последнего средства к восстанию против тирании и угнетения; ст. 13, 1) Каждый человек имеет право свободно передвигаться и выбирать себе местожительство в пределах каждого государства; 2) Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну; ст. 14, 1) Каждый человек имеет право искать убежище в других странах и пользоваться этим убежищем; ст. 15, 2) Никто не может быть лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство; ст. 19. Каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное выражение их; это право включает свободу беспрепятственно придерживаться своих убеждений и сво-

боду искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». — «Всеобщая Декларация прав человека»).

Господин У Тан, мы набрались духу обратиться к Вам с рядом вопросов, ответ на которые имеет для нас жизненно важное значение. Разумеется, мы обращаемся к Вам не как к частному лицу, а как к человеку, возглавляющему организацию, цели и принципы которой нам очень близки, как к человеку, в значительной мере символизирующему для нас ООН. Однако, мы просим Вас проникнуть в суть нашего положения не только в качестве главы ООН, не только как лицо, обладающее всей полнотой информации по интересующим нас вопросам, но и чисто по-человечески. Именно в уповании на такое постижение специфики ситуации, в которой мы пребываем, мы и предпочли обратиться не к безликой Организации, но именно к Вам. Будь у нас хоть малая толика надежды на объективную реакцию советских компетентных органов или имей мы возможность почерпнуть нужные нам сведения из специальной литературы, мы, поверьте, не осмелились бы беспокоить Вас. Но, увы, советские компетентные органы не жалуют нас, заключенных, вниманием — в лучшем случае они поручат какому-нибудь полуграмотному лагерному начальнику про-

вести с нами « воспитательно-разъяснительную работу », — к литературе же (разумеется, советской, ибо о западной, упаси Боже, или хотя бы издающейся в так называемых странах народной демократии не может быть и речи) доступ нам жестко ограничен.

Мы — это : Кузнецов Эдуард Самуилович, еврей, 32 лет от роду, в 1968 г. отбывший 7-летнее заключение за так называемую антисоветскую деятельность, а в 1970 г. приговоренный Ленинградским городским судом за попытку изменить родине путем бегства за границу к 15 годам, за организационную деятельность — к 15 годам, за покушение на хищение государственной собственности в особо крупных размерах (имеется в виду самолет) — к 15 годам, за размножение (в 2-х экземплярах), хранение и распространение « мемуаров » Литвинова — к 10 годам, за размножение (в 1 экземпляре), хранение и распространение с целью ослабления советской власти книги Шуба « Политические деятели России » — еще к 10 годам; Мурженко, Алексей Григорьевич, украинец, 1942 года рождения, в 1968 году освободившийся после 6-летнего срока за антисоветскую деятельность, в 1970 г. осужденный Ленинградским городским судом за покушение на измену родине на 14 лет; Федоров Юрий Павлович, русский, 28 лет, освободившийся в 1965 г. после 3,5 лет за-

ключения за антисоветскую деятельность, приговоренный в 1970 г. тем же Ленинградским городским судом за измену родине к 15 годам, за организационную деятельность — к 15 годам, за попытку похитить самолет — к 15 годам. Мы признаны особо опасными государственными преступниками, особо опасными рецидивистами и ныне содержимся в спецлагере особого режима. На суде мы не признали себя виновными в предъявленном нам обвинении, хотя советская пресса и сообщала об обратном (см., например, «Известия» от 1-го января 1971 г.), и сейчас мы заявляем, что нас судили за преступления, которые мы не только не совершали, но и не собирались совершать. Мы жертвы преднамеренно расширительной интерпретации понятия измены родине — противоправного политико-юридического приема, четко осужденного на Нюрнбергском процессе в 1946 г., — и противозаконного применения к нам статьи по аналогии (за отсутствием в советском уголовном кодексе статьи об уgone самолетов, нас обвинили в намерении присвоить самолет). Мы, не отрицая инкриминированных нам актов, считаем умышленно ложной квалификацию их: мы полагаем, что виновны в попытке совершить угон самолета, но не в намерении присвоить его и не в покушении на измену родине, а всего лишь в нелегальном побеге за границу.

Г-н У Тан, нас волнуют следующие вопросы.

Несмотря на то, что текст «Всеобщей Декларации прав человека», как к примеру сказать, и Библия, и Евангелие, считается в концлагере крамолой, мы осмеливаемся многое из этого текста помнить наизусть. И в первую очередь статьи 13, 14 и 15. Великолепные слова, великие обещания, источник светлейших упований!... Скажите, ведь ратификация этой Декларации обязывает к выполнению ее статей, не так ли? Чем государство, ратифицировавшее Декларацию, гарантирует реальность воплощения в жизнь провозглашенных прав человека? И как оно расплачивается за постоянные, ставшие элементом государственной политики, нарушения тех или иных статей Декларации? И, главное, как быть человеку, чьи права попираются на протяжении многих лет и нет ни исхода, ни самой мизерной надежды на реализацию этих прав? Куда ему обратиться, и может ли он рассчитывать на действительную помощь извне, если столкнулись его человеческие интересы с государственными? (Г-н У Тан, мы имеем в виду вполне конкретный территориально-политический контекст и поэтому совет обратиться в суд для разрешения конфликта между государством и личностью неприемлем... Это немислимо — особенно если в основе такого конфликта

хотя бы видимость политической подоплеки).

Представьте себе, г-н У Тан, положение человека (или того больше — группы людей), который по тем или иным причинам — отнюдь не потому, что он бежит от наказания за уголовное преступление и не обязательно вследствие политического оппозиционерства правящей партии — хочет выехать в другую страну. Он уже не столь наивен, чтобы всерьез принимать газетные разглагольствования о свободах, но он искренне считает, что и на него распространяются блага, провозглашенные Декларацией, и сама жизнь ему в тягость без возможности пользоваться этими правами. Так вот, представьте себе положение такого человека, если легальный выезд для него не существует, невозможен без всяких на то причин и даже законоподобных поводов: он не имеет отношения ни к военным, ни к каким-либо другим секретам, он не какой-нибудь там ученый и отнюдь не политический деятель, пожелавший переметнуться в лагерь врагов социализма. Каково ему, если жизнь в стране, в которой он родился, кажется ему каторгой (в силу ли реальных причин или мнимых — вопрос другой), если эмиграция для него — не причуда взыскующего зарубежной экзотики, если право на выезд ему важнее всех прочих прав, ему, склонному считать себя рабом, если его этого права

лишают? Каково ему, если он знает, что *никогда* не сможет покинуть пределы страны, по тем или иным причинам опустылевшей ему, *никогда* не станет гражданином государства свободно избранного им согласно его вкусам или национальной симпатии, что он обречен до конца дней своих не ведать о жизни, потенциально не зараженной концлагерями (во всяком случае для него лично), не знать, что значит громко говорить о своих убеждениях? Представьте себе, г-н У Тан, положение такого человека, и Вы, может быть, поймете, почему он однажды решается на такое предосудительное со всех точек зрения деяние как угон самолета. Предосудительное и по его мнению, но им оно избирается только в качестве исключительной меры, а отнюдь не как обычный тип выхода из конфликтных ситуаций.

Решившись на угон самолета, мы готовы были принять все бремя ответственности за содеянное. Но лишь за содеянное, а не за приписанное нам. И только при условии четкой расстановки всех акцентов. Побег за границу был для нас единственным средством пробиться к достойному существованию, как мы его понимаем. Мы готовы предстать перед судом за угон самолета, перед судом любой из стран, где человек не прикреплен навечно к месту своего рожде-

ния: как бы ни тяжела оказалась кара, назначенная нам, мы знали бы, что после отбытия наказания нам никогда не придется вновь биться головой о китайскую стену, отделяющую нас от мира свободного выбора. Что делать людям, у которых украли весь мир, совершившим попытку побега, осужденным за это на огромный срок и непреложно знающим, что и после выхода из тюрьмы они не обретут возможности покинуть замучившую их страну? Как вообще быть человеку, не желающему оставаться гражданином того или иного государства, но принуждаемого к этому насильно, вынужденному подчиняться порядкам, которые для него, ориентированного на этикополитические категории, выработанные демократической мыслью цивилизованного человечества, неприемлемы?

В ст. 29 Декларации говорится, что осуществление прав и свободы человека «ни в коем случае не должно противоречить целям и принципам ООН». К таковым, конечно, относится и принятая XXV сессией Генеральной Ассамблеи ООН специальная резолюция от 25-го ноября 1970 г. о борьбе с угоном самолетов. К сожалению, мы имеем возможность ознакомиться с этой резолюцией лишь по неполному изложению ее в советской прессе. Неужели в этой резолюции нет ни слова об одном из самых действенных

способов борьбы с угоном самолетов — об эффективном понуждении государств членов ООН выполнять 13 статью Декларации? Неужели эта резолюция не признала, что лица, организации или государства, препятствующие свободному выезду за границу, являются ответственными за отдельные случаи угона самолетов? Разумеется, сколь бы обстоятельства ни провоцировали человека на преступление, это не снимает с него вины, однако доля ее — а в нашем случае немалая — ложится на эти самые обстоятельства. Попытка угнать самолет, да еще в то время, когда ООН призвала к усилению борьбы с воздушным пиратством, — значит, по-видимости, противопоставить себя «целям и принципам ООН». Статья 29 декларации недвусмысленно осуждает такого рода деяния. Но есть ведь и иное положение той же Декларации — второй абзац преамбулы, где допускается возможность такого положения, что человек, когда его права попираются, бывает «вынужден прибегать к качеству последнего средства к восстанию против тирании и угнетения». Поправление наших человеческих прав не было одноразовым актом и выражалось оно не только в невозможности выехать за границу, хотя здесь мы говорим преимущественно только об этом. Мы знали, что фразы типа: «сгниете здесь, а не уедете» — не только личное пожелание совет-

ских чиновников, произносивших их. И если «тирания и угнетение» отчасти слишком сильное выражение в нашем случае, то и предпринятая нами попытка угона самолета — отнюдь не восстание, а скорее форма самоубийства, вопль о помощи, — ибо ни один из нас, во всяком случае накануне решительного дня, не верил в успешный исход, и однако никто не отказался от участия в этом акте отчаяния. То, что это именно так, подтверждают следствие и суд. Достаточно привести слова Сильвы Залмансон, сказанные ею во время суда: «Мы ясно видели за собой слежку и поняли, что будем арестованы. Но как и другие я решила: будь, что будет, пусть тюрьма — только бы не возвращаться к прежней жизни». Нет, выезд за границу для нас не блажь...

Чем объяснить, что после нашего акта отчаяния, количество советских эмигрантов возросло во многие десятки раз, причем средний возраст эмигрантов резко уменьшился, как и процент инвалидов? Не является ли это неявным признанием, мягко говоря, перегиба в вопросе о репатриации евреев и эмиграции вообще? Если это так, то почему мы, жертвы этого перегиба, должны нести все бремя его последствий?

Статья 14 Декларации говорит о праве человека на убежище в другой стране. Но как было нам попасть в эту другую страну?

И может ли само намерение просить убежище, о праве на которое прямо говорится в Декларации, быть использовано в качестве доказательства враждебных по отношению к СССР умыслов? Только на этом строится обвинение многих из нас в измене родине. И это ведь в мирное время! Неужели и вправду резолюция от 25 ноября уравнивает перед лицом мирового общественного мнения уголовников, бегущих от правосудия, лиц, захватывающих самолеты из корыстных или террористических побуждений, тех, кто имеет возможность беспрепятственно покинуть свою страну и возвращаться в нее, и все же угоняющих самолеты, с... такими, как мы? Правда, угроза жизни пассажиров и экипажа самолета во многом нивелирует мотивы, по которым совершается воздушное пиратство. Но в нашем случае ни жизни пассажиров самолета, ни жизни его экипажа угрозы не было.

В отрывках из текста ноябрьской резолюции 25 сессии Генеральной Ассамблеи ООН, опубликованных в «Известиях» от 28 ноября, упоминается о том, что наказание за угон самолета должно быть соразмерно содеянному. Но где критерий определения этой соразмерности? Разве ООН не знает о возможностях демагогического обыгрыва таких расплывчато сформулированных пожеланий. Не зря суд над нами, назначенный

первоначально на 20-е ноября, был, без всяких на то законосообразных оснований, перенесен на 15-е декабря: запланированную жестокость приговора надо было оправдать ссылками на резолюцию ООН.

Мы отнюдь не мним себя политическими деятелями. Более того, мы не чувствуем ни призывания к политической деятельности, ни имеем даже повышенного интереса к политике. Хотя ранее нас и судили за так называемую антисоветскую деятельность, она по сути сводилась лишь к тому, что мы недостаточно тщательно скрывали свои убеждения — общедемократического толка. Ныне один из нас — а именно Кузнецов — дважды приговорен к 10 годам за чтение, размножение и хранение 2-х книг. Если в ответ на утверждение, что ст. 70 УК РСФСР противоречит ст. 19 Декларации, Вам скажут, что ст. 70 предусматривает наказание за особо злостную деятельность, посягающую на свержение советской власти, не верьте этому: книги Шуба и Литвинова достаточно широко известны, и каждый в силах рассудить, стоят ли они десяти лет заключения. А двое из нас — Мурженко и Федоров — признаны виновными не в побеге за границу, а в измене родине только потому, что они оказались — по мнению суда — обладателями антисоветских убеждений. Наличие таковых у Мурженко доказывается

тем, что он, отбывая предыдущий срок, уклонялся от работы, а у Федорова — запиской к матери, написанной в 1962 г., когда ему было 18 лет.

Мы понимаем, что Вы не можете непосредственно вмешиваться во внутреннюю жизнь чужой Вам страны. Но скажите, в какой мере мы можем рассчитывать — и можем ли вообще — на Ваше содействие требованию пересмотра нашего дела, пересмотра необходимым условием которого должна быть полная гласность? Советская пресса рекомендовала нас разбойниками, бандитами, политическими уголовниками и даже агентами Шин Бет и ЦРУ, но ни единым словом не обмолвилась о мотивах нашего посягательства на угон самолета, ни тем более о том, что 7 из 12 подсудимых неоднократно на протяжении нескольких лет обращались в соответствующие советские органы с ходатайствами о выезде в Израиль, и уж конечно умолчала о том, что остальные даже не могли себе позволить такой роскоши, как публичное обнаружение эмигрантских упований. Нам нечего скрывать, и мы хотим настоящей гласности суда над нами. Это, поверьте, не мы написали на томах нашего следственно-судебного дела: « Совершенно секретно ».

Пользуясь случаем, мы хотим задать Вам несколько вопросов, непосредственно не свя-

занных с основной темой этого обращения. Но нам их некому задать и тем более не от кого получить ответы.

Имеем ли мы право (в том числе и по советским законам) отказаться, будучи заключенными и продолжая отбывать назначенный нам судом срок, от советского гражданства? Если да, то каким образом? То есть, распространяется ли на политзаключенных статья 15, 2) Декларации? Можем ли мы, формально оставаясь советскими гражданами, искать помощи юриста — иностранного подданного, пригласить его своим защитником? Правда ли, что Советским Союзом давным-давно подписана конвенция о правилах содержания политзаключенных? По режиму лагеря, в котором мы находимся, нас используют только на физически тяжелых работах, переписка ограничена 1 письмом в месяц, лишь начиная с 1978 года нам разрешат, буде мы явим образец смирения, пятикилограммовую продуктовую посылку раз в год, зарубежная литература (в том числе и издания социалистических стран) категорически запрещена, а получение советской литературы предельно затруднено. Не упоминая о прочих особенностях режима нашего лагеря, мы хотим узнать, не находятся ли вышеперечисленные ограничения в противоречии с теми или иными пунктами упомянутой нами конвенции? Имеем ли мы

право на помощь Красного Креста? Если имеем, то под каким предлогом соответствующие советские органы отказывают тем, кто пытается нам помочь?

Г-н У Тан, обратиться к Вам нас побудила не досужая любознательность, не избыток сил, ищущих приложения... Каждому из нас нужны ответы на волнующие нас вопросы, чтобы как-то жить дальше, чтобы с предельной полнотой осмыслить ситуацию, в которой мы оказались, чтобы осознанно противостоять условиям, обезличивающим человека, превращающим его в полубезумное полосатое животное, чем стали многие обитатели нашего лагеря. За сам факт обращения к Вам нам, конечно, не поздоровится: текст его будет признан антисоветским, клеветническим, порочащим существующий в СССР политический строй с целью подрыва и ослабления его. Вероятно, нам вновь придется предстать перед судом. Но если Вы нам ответите и проследите за тем, чтобы Ваш ответ дошел до нас, дело, возможно, ограничится административными репрессиями.

С глубоким уважением и надеждой... Такие-то.

Как его переправить за проволоку? Проблема. Стерегут нас крепко. Даже из Владимирского централа я ухитрялся писать на

волю, минуя цензора, а тут, как ни бьюсь, придумать ничего не могу — пока. Тем, кого отправляют в больницу, даже клочка газеты не разрешают брать с собой; у освобождающихся заранее изымают все бумаги и книги и тщательно исследуют их в поисках тайнописи; перед свиданием исследуют все дыхательно-питательные отверстия и переодевают в «хозяйскую» робу; надзиратели, спекулирующие чаем и продуктами, бледнеют при одном упоминании о бумагах...

13. 8. Вчера после обеда, только я развалился на бревнах подремать до гудка, подсел Х¹⁾ и открыл мне душу, точнее — приоткрыл, пытаюсь наиболее выгодно для себя осветить ее потемки. Его связь с КГБ — секрет Полишинеля, и он, желая и капитал приобрести, и невинность соблюсти, предложил мне свои услуги в качестве поставщика чекистам дезинформации и осведомителя о их планах относительно нас троих. Я дал ему выговориться. Оказывается он, узнав от Синявского, вместе с которым был тогда в больнице, что нас посадили, решил продаться ЧК, чтобы войдя к ней в доверие, потом помогать нам. (А я-то думал, что чистой воды альтруизм — химера!). Это именно он

1) Имя выпущено издательством.

устроил так, что мы с Юркой попали в одну камеру — плюс он сам и кабинет КГБ за стеной. (В определенные дни Кочетков выдает ему «разговорную» пачку чая: предполагается, что чифир располагает к болтливости). На мой вопрос, что интересует КГБ, он ответил: «Все! От знакомства на воле до личных особенностей: привычки, характер, темперамент, степень общительности и даже сны». «Чем же ты, болезный, помочь нам хочешь?» — спрашиваю. — Ну, во-первых, говорит, можно посадить любого из твоих врагов на воле, создав видимость, что он играет роль связного между тобой и Западом. (Хм, говорю). Во-вторых: мы поставляем ЧК ложную, но правдоподобную информацию, а она поддерживает ходатайство моей матери о помиловании (мать, говорит, моя — старая коммунистка, не без связей... но не хочет хлопотать за меня, пока я не исправился, не стал вполне советским человеком, — причем услышать она об этом хочет именно из начальнических уст), я освобождаюсь, женюсь на иностранке, получаю доступ в какое-нибудь посольство и... краду ребенка.. иностранного, конечно... Дескать, выпускайте на волю Кузнецова, Федорова и Мурженко, а не то ребенка не верну.

«Киднэппинг, значит, — понимающе подкиваю я. — Это мысль! Но куда же ты

спрячешь иностранного ребенка? Тут ведь не Америка с частными особняками...» «Уж куда-нибудь спрячу. А можно просто усыпить его порошками. Да если бы даже и умер!... Ради такого дела...» Что-то вроде как щелкнуло вверху, из-за туч заступился бледно-сиреневый свет («утки крикнули, берега звякнули, море взболталось, тростники всколыхались, проснулась гамаюн-птица, зашевелился зеленый бор...»), все чуть-чуть сместилось... явь ли беременная бредом, бред ли рядящийся явью, Иван Карамазов и дитё в фундаменте.. А, может, запустить в черта чернильницей, то бишь врезать ему промеж глаз? Голос посланца трезвой реальности — надзирателя Панкина: «Почему не работаете? Запишу!» «Ты же, командир, — говорю с облегчением, — писать не умеешь». Это чистой воды правда, однако Панкин почему-то рассвирепел. «Кузнецов! — кричит он. — Рабочее место!... Рапорт! Интилигент вшивый!»

Я так и не пришел к окончательному выводу относительно побуждений Стовбуненко. Что преобладает? Глупость, подлость, моральная глухота или болезненная потребность в сентиментальной дружбе — с клятвами у склепа и расписками кровью. (В том году Динмухаммедов¹⁾ вскрыл себе вены

1) О Рашиде Динмухаммедове см. Хр. № 17.

и попросил Стовбуненко препятствовать оказанию медицинской помощи. Дело было в больничной зоне, в камере, пышно зовомай палатой, они сидели вдвоем и, видать, подружились. Разумеется, перевязать Динмухаммедова не представляло никакого труда, несмотря на решительные вопли Стовбуненко, но врачи с удовольствием умыли руки... и к утру имели труп. Тогда Стовбуненко еще не работал на ЧК и двигала им дружба, романтическая верность торжественно данному обещанию... и тайное желание насолить администрации, увеличив процент смертности). Перед съемом я подошел к нему и сказал, что я в такие игры не играю — не в смысле только иностранного дитяти, но и вообще. И не столько потому, что на таких условиях игра с ЧК неизбежно идет вслепую, бесперспективна и чревата возникновением личной ненависти ко мне Кочеткова (одно дело, когда он травит меня в качестве рядового врага и другое — как человека, пытающегося его обыграть, т. е. посягающего на его погонные звездочки), сколько потому, что я вообще шарахаюсь всего, что связывает.

Стовбуненко, между прочим, сказал, что ЧК интересуется, как можно понудить меня к максимальной болтливости — на любую тему — в кабинете. Он считает, что ЧК собирается из магнитофонных записей моей

болтовни смонтировать покаяние. Насколько это верно — трудно сказать.

22. 8. Симутис дал мне копию заявления, отправленного им в прошлом году в Президиум Верховного Совета СССР. Ему интересны мои соображения, которые он хочет учесть при составлении нового заявления. Я старался, сказал он, избежать всего, что зовется антисоветчиной, но не ценой искажения той правды (я даю лишь самый минимум ее), без упоминания о которой вообще не могут быть поняты условия, в которых оказались многие из нас, литовцев — теперешних лагерников.

Полагая, что заявление, отправленное в Президиум, не будет открытием для чекистов, если они все-таки обнаружат мои бумаги, я решил переписать его, не спросив разрешения Людвига.

Президиуму Верховного Совета СССР
от Симутис Людвикас Адомаса,
1935 г. рождения.

ЗАЯВЛЕНИЕ ¹⁾

Мне было 5 лет, когда мне показали труп моего отца. Половина лица опухшая, синяя,

¹⁾ О нем и его заявлении см. Хр. № 17 или 18.

другая половина кровавая. Выколоты глаза. На руках и ногах кожа белая, отставшая от тела, обваренная. Язык вытянут и перетянут веревкой. Половые органы раздавлены (об этом я узнал позже). Рядом много других так же изуродованных трупов. Плач моей матери и многих незнакомых мне людей. Проклятия в адрес большевиков.

До этого я не слышал слова «большевики». О большевиках первую информацию жизнь мне преподала в виде ими изуродованных трупов и в их адрес посылаемых проклятий: людоеды, изверги, уроды, подонки человечества... Эти проклятия произносились не пропагандистами, а от ужаса и горя теряющими сознание матерями, женами и даже мужчинами.

Это было в июне 1941 г., после отступления Красной Армии. Мне тогда было 5 лет.

Под знаменем антисоветской подпольной организации «LLKS» («Движение борьбы за свободу Литвы») я оказался не потому, что мне не нравились идеи социализма — я тогда был слишком молод, чтобы достаточно разбираться в теориях, — а потому, что Красной Армией принесенная в Литву советская власть расправлялась с неприемлемыми непонятными новыми порядками людьми с чрезмерной и преступной жестокостью. «LLKS» же представляло собой в Литве общеизвестную и довольно внушительную

силу, выступающую против оккупации Литвы Советской армией, против ею навязываемого советского строя.

Шла борьба неравная, поэтому жестокая. Борьба не на жизнь, а на смерть — что не ново в истории людей. Если партизанам Вьетнама сегодня идет обильная помощь не только из Советского Союза, но и от компартий многих других стран, то защищавшим свою маленькую Родину от могущественного агрессора партизанам Литвы извне по сути дела не помогал никто. Почти все честные люди мира (если после всего этого их можно считать честными) молча смотрели на избиение литовцев советскими солдатами.

Пять послевоенных лет не прекращалась в Литве стрельба, лилась людская кровь, стонали люди как от советской власти, так и от руки «LLKS». Но я знал, что в «LLKS» литовцы, свои, а солдаты советской армии говорили на непонятном, чужом, русском языке. Я знал, что революции в Литве не было, что Красная армия пришла в нашу страну и стала наводить в ней свои порядки без приглашения и что это называется оккупацией. Я знал, определенно знал, что не «LLKS» довело борьбу до такого ожесточения, ибо «LLKS» еще не существовало, когда чекисты уже варили руки еще

живому моему отцу, раздавливали ему половые органы.

Я хотел жить и учиться, и играть.

Но какая жизнь, когда третьи сутки лежит на улице убитый сосед и никому не разрешено его хоронить... Какая учеба, когда то один, то другой школьный друг перестает появляться в школе — их вместе с семьями в заколоченных товарных вагонах увезли в Сибирь... Какая игра, когда плачут взрослые...

О том, что я не сгущаю красок и не занимаюсь клеветой, свидетельствуют цифры. Вот некоторые из них: « С июля 1944 г. по декабрь 1945 г. ликвидировано 1067 антисоветских подпольных организаций и групп, 839 вооруженных бандитских групп (наши партизаны обзываются бандитами — Л.С.), 11870 контрреволюционеров » (Партархив ЦК КП Литвы, фонд 1771, оп. 1771, од. сб. 89, лист 88). Сравните: « За годы Великой Отечественной войны в антифашистском подполье и партизанском движении участвовало 9187 человек, из них погибло 1422 человека » (Штарас « Партизанское движение в Литве в годы Великой Отечественной войны ». Кандидатская диссертация, 1965 , лист 243).

В моей груди билось живое сердце, не каменное. Остаться в стороне я не мог. Не мог !

Моя антисоветская деятельность была честной и бескорыстной. Я делал только то, что искренне считал необходимым или полезным для дела борьбы с чуждой литовскому народу советской властью. Ничего не делал ради личной выгоды или славы. Я был убежден, что борюсь против несправедливости, что исполняю свой гражданский долг перед своей Родиной, своим народом и всем человечеством.

Меня не смущало, а наоборот — воодушевляло — то обстоятельство, что антисоветское движение в Литве, объединявшее в первые послевоенные годы десятки тысяч людей, через 10 лет борьбы стало крайне малочисленным. Я находил нужным бороться не только за себя, но и за тех, кого сразили пули врага, и за тех, кто попал в руки чекистов и с номером на спине, умирая с голоду, добывал уголь на Воркуте, а также за тех, кто, испугавшись пыток и Сибири, испугавшись того, что не видно победы, подняли или опустили руки.

Я был арестован не в 1952 г., когда органы госбезопасности получили достаточно данных о моих связях с антисоветским подпольем, о том, что у меня имеется оружие, что я распространяю нелегально издаваемые «LLKS» газеты, брошюры и листовки. Меня арестовали спустя три года активной моей антисоветской деятельности, в 1955 г., при

том тогда, когда я, поверженный туберкулезом позвоночника, по прогнозам врачей залег на три года в больницу, лежал в гипсе, был не в состоянии ходить.

Это не способствовало мне проникнуться уважением к чекистам, не побуждало менять отношение к Советской власти.

Только публичное осуждение КПСС культа личности Сталина и признание, что в стране имели место ряд ненормальных явлений, как репрессии против невинных граждан, жестокость, очковтирательство и т. п., и что «это не должно повториться» (Хрущев), поставило передо мной вопрос: неужели Кремль изменит свою политику так, что борьба против власти станет ненужной?

Притом к тому времени я уже ясно осознал, что политдеятельностью я занялся не по призванию, а по необходимости, что быть политдеятелем я не могу, ибо нет у меня ни нужных способностей, ни желания, ни достаточного образования.

Поэтому я встал на путь мирной, спокойной, трудовой жизни. Стал повышать свой общеобразовательный уровень. Приобрел пару трудовых специальностей. Стал работать, хотя по состоянию здоровья от работы освобожден. Напряг все силы, чтобы избежать нарушений установленного в заключении режима, хотя признать его справедли-

вым не могу. В течение последних 8-ми лет (до 1970 г.) я непрерывно был голоден. Было очень тяжело. Но я молчал, хотя такое отношение власти к заключенным, особенно к политзаключенным, признать справедливым не могу. Почти непрерывно нам здесь дают хлеб настолько плохого качества, что даже голодные люди не в силах съесть свой паек. Этим же хлебом снабжают и жителей близлежащих населенных пунктов. Но раз молчат полноправные граждане, молчу и я — заключенный, хотя такое молчание считать нормальным не могу. Оно не соответствует духу «морального кодекса строителя коммунизма». Ибо теперь не голодные для страны послевоенные годы, теперь, судя по газетам, есть из чего сделать хлеб нормальным.

Меня представители советской власти часто обзывают преступником, бандитом. Я молчу, хотя считаю такое отношение ко мне несправедливым. Несправедливым не только потому, что я не бандит, а и потому, что официальная политика советского государства декларирует уважение к инакомыслящим.

И т. п.

До сих пор я не проникся доверием и уважением к советской власти, к идее коммунизма. Это наверняка потому, что мое пребывание в заключении не способствовало,

а наоборот — мешало этому. Здесь представители советской власти, борцы за коммунизм (по крайней мере по занимаемой должности) мне часто советуют: «Меняй взгляды. Другого пути на свободу нет». И тем самым лишают меня возможности относиться к ним и к представляемой ими власти и партии с уважением. Ибо кому, если не им, положено знать и понимать учение Маркса о том, что взгляды человека формируются в зависимости от многих и многих факторов, но только не от собственного желания занять такие-то или иные взгляды!

Трудовая сторона воспитательной работы здесь, в исправительно-трудовой колонии особого режима, где я содержусь, тоже поставлена так, что кроме обращения и к труду, и к администраторам этого труда, больше ничего мне дать не может. Я люблю трудиться от души, в поте лица, творчески. Об этом свидетельствуют благодарности в моем личном деле за хорошую работу и примерное поведение. Но когда здесь от меня требуют работу, для выполнения которой мне не дают ни материалов, ни нужных инструментов, в связи с чем я вынужден работать плохо, когда первую половину месяца работы вообще нет, а вторую половину приходится работать за двух, когда любая попытка изготовить недостающий для

работы инструмент или приспособление сопровождается подозрительными взглядами надзирателей, а то и настоящим следствием, и часто квалифицируется как нарушение режима, — такой труд меня не облагораживает.

Прошло 15 лет моей жизни в заключении. Понимаю, что этого срока слишком мало, чтобы притихла боль в сердцах близких Осипова, погибшего от моей руки. Но ведь и в моем сердце до сих пор не утихла боль за зверски чекистами замученного моего отца, который был арестован по подозрению и виновность которого (даже перед советской властью) так и не была доказана. Даже на реабилитацию его не могу надеяться, ибо он был замучен до суда, вернее, без суда. А все его знавшие люди мне говорили, что он был очень хорошим человеком.

Я против, категорически против мести.

Мое поведение в заключении свидетельствует, что я способен вести трудовой, мирный образ жизни, быть лояльным к советской власти, если она серьезно борется за исправление своих ошибок.

Понимаю, что это свидетельство не обязательно должно быть воспринято как доказательство. Разве мало людей, лицемерящих целую жизнь, не только 15 лет!

Но все-таки. Мне теперь уже не 15-19 лет, когда я был способен бить лбом об

стену. Я теперь склонен к расчету. Я знаю, что органы госбезопасности при содействии советской армии давно ликвидировали «LLKS». Газеты и журналы советской Литвы, которые я имею возможность в заключении читать, утверждают: литовский народ понял, что коммунизм не только неизбежен, но и прекрасен, что союз Литвы и России не только прочен, но и полезен, поэтому для антисоветской деятельности теперь в Литве почвы нет. Следовательно, нет основания полагать, что я возобновлю антисоветскую деятельность, если бы меня освободили.

До моего ареста я, будучи антисоветчиком, сумел быть и комсомольцем, даже комсомольским активистом. Теперь я тоже сумел бы сыграть роль раскаявшегося преступника, каковым здесь меня хотят сделать. Сумел бы исписать целую простынь хвалебств в адрес и начальника отряда и всей исправительно-трудовой системы советского государства и советской власти вообще. Сумел бы наговорить кучу приятных обещаний. Этим заслужил бы ходатайство администрации колонии о помиловании меня. Но я этого не делаю. И не сделаю. Ибо это было бы не от души. Если нет нужды говорить, если это надо, я умею и могу о многом помолчать. Но лгать, тем более лгать ради личной выгоды уж очень не хочется.

Я верю в торжество справедливости.

Это не означает, что я в советском строе не вижу ничего хорошего. Не об этом здесь речь. Здесь я только подчеркиваю, что не бороться против советской власти я не мог, что преступником я не был и не стал, что моя жизнь в заключении не способствовала разрушению моей враждебности к власти советского государства. И нет оснований ожидать, что положение в скором времени изменится, ибо разрыв между официальной линией советского государства и конкретным положением вещей здесь слишком глубок. Наблюдать же изменения, происходящие за забором, в достаточной степени не могу, ибо от них я надежно изолирован. (Может ли кто-нибудь в мире поверить, что я до сих пор не видел телевизора, транзистора?! Но это правда).

Понимаю, что меня, с оружием в руках выступавшего против советской власти, чекисты не могли не арестовать и не содержать определенное время в заключении. Но не понимаю, почему меня в заключении морили голодом, всячески надо мной издевались. Притом теперь, когда борьба уже закончена, когда мы уже побеждены, мое пребывание в заключении становится бессмысленным.

Тем более, что мое состояние здоровья в последнее время стало заметно ухудшаться.

Если теперь я еще способен работать и заработать себе на жизнь, то в ближайшее время в условиях заключения я могу стать неспособным к труду. Тогда освобождение для меня стало бы более горьким, нежели смерть в заключении.

Из вышесказанного следует, что дальнейшее мое пребывание в заключении не может воспитывать во мне уважения к власти советского государства, а наоборот — будет мне указывать, что, несмотря на громкие обещания, все-таки повторяется то, что «не должно повториться», подтвердит уже зародившуюся во мне мысль, что тогда, в 1956 г. Президиум Верховного Совета СССР отменил решение Прибалтийского Военного Трибунала о расстреле только для того, чтобы меня не просто расстрелять, а замучить невыносимыми условиями жизни в заключении.

Прошу меня освободить.

20/VII, 1970 г. Л. Симутис

Приводим текст другого заявления Людвикаса Симутиса (от 10 декабря 1971 г. в *День защиты прав Человека*).

Президиуму Верховного Совета СССР
от Симутиса Людвикаса
сына Адомаса, 1935 г. р.
Адрес: 431140, п/о Ударный
Мордовской ЛССР, п/я
ЖХ 385/10

ЗАЯВЛЕНИЕ

Понимаю, что доказывать свои достоинства есть признак глупости и бесчестия. Поэтому мне крайне неприятно и стыдно писать данное заявление. Но я нахожусь в «яме», где молчание чрезмерно дорого обходится, где скромность расценивается как признак слабости, никчемности, где не только напоминать о себе, но даже кричать заставляет боль.

В девятнадцатилетнем возрасте меня арестовали за политическую деятельность, направленную против Советской власти в Литве.

С детства я был тихим, скромным, послушным мальчиком, искренне верящим в Бога. Никогда не имел намерений совершать преступления, делать кому-либо зло. Наоборот, рассказы и сказки матери и бабушки, а позднее прочитанные книги о жизни святых Католической Церкви и другие разжигали во мне желание и решимость прожить жизнь так же справедливо и мужественно, как

жили эти святые и герои сказочные и действительные.

Не моя вина, что жизнью, средой, прямо-таки с молоком матери вложенные в меня нормы поведения, мораль, совесть, оказались в несоответствии с требованиями советской действительности.

В заключении я много читал, занимался самообразованием, общался с различными людьми различных национальностей и взглядов, думал о прошлом, настоящем и будущем. Все это тоже оказало воздействие на формирование, развитие и закалку моего мировоззрения. Сегодня мои взгляды во многом отличаются от тех, с которыми меня доставили в тюрьму.

Но опять, не моя вина, что я не стал приверженцем диамата, что я не верю в возможность построения коммунизма, что я остался католиком.

Пребывание в заключении мне, инвалиду 2-ой группы, было крайне тяжелым и, так как состояние моего здоровья заметно ухудшается, становится все тяжелее и тяжелее.

Жесткий распорядок дня, недостаток, некачественность и однообразие пищи, страшные условия жизни в обществе грабителей, мошенников, педерастов, психобольных, да и время длиной в шестнадцать с половиной года сделали меня нервным, раздражительным, уже седеющим. Но не вышибли из

меня честности, трудолюбия, веры в торжество справедливости, готовности на самопожертвование за дело, в которое верю.

Жизнь приучила меня быть терпеливым, сдержанным, уважать и те взгляды, дела и законы, которые мне неприемлемы. Об этом красноречиво свидетельствует факт, что я за весь срок пребывания в заключении ни разу не нарушил установленного здесь особо строгого режима и не имею ни одного взыскания. Среди огромного количества знакомых мне заключенных я знаю еще только одного человека, который сумел 16 лет избежать взысканий. Мало того, в моем личном деле есть ряд благодарностей за хорошую работу (Я работаю, хотя как инвалид 2-ой группы от работы освобожден !) и примерное поведение.

Л. Симулис

10. XII. 1971.

19. 8. Меня тянет прокомментировать это заявление и передать впечатление о самом Людасе. Но этого не буду делать — все по той же причине: минимум сведений о честных людях, дабы не повредить им невольно. Надеюсь, для меня еще наступит время обобщений и выводов, но и тогда осторожность да не оставит меня. Иногда мне кажется, что я-таки соберусь с духом и посягну на художественный вымысел — он

не освободит меня от «уголовной» ответственности за написанное, но зато его не просто использовать во вред другим. А пока несколько цифр о литовцах. Здесь их семеро. Лишь один из них — Багдонас — имеет заслуги перед ЧК: пойманный в 1955 г., он помог госбезопасникам арестовать группу партизан «в том числе и Симутиса», однако был приговорен к расстрелу, который ему потом заменили 25 годами, 16 из которых он уже отсидел, тайно сотрудничая с ЧК — однако на очередное моление о помиловании ему ответили отказом, крайне его обескуражившим. Создается впечатление, что по отношению к прибалтам и западным украинцам — ведь именно на этих землях Советы наиболее откровенно демонстрировали свою суть — действует не столько закон беспощадной мести: всяк, не спешащий встать на колени, да сгниет в тюрьме (месть обладателей абсолютной истины, радикальных преобразователей мира неизбежно кровава и беспощадна), — сколько закон ненависти к тем, кому причинено наибольшее страдание. В лагере сейчас 120 заключенных (и 35 человек администрации, включая и надзирателей), 7 литовцев это чуть меньше 6%, тогда как число литовцев от 240 миллионов составляет около 1%. Одному — Шлимасу — снизили срок до 15 лет, троим другим добавили срок за какие-то лагерные дела.

Таким образом всего у них семерых сроку 182 года — по 26 лет на брата, из них они отсидели 125 лет — каждый в среднем по 18 лет. Их средний возраст 46 лет. Все они католики. Ни один из них не резался, не делал никаких наколок на лице (подозреваю, что и то, и другое — преимущественно русские формы бунта), так же как никто из них не стал наркоманом или гомиком. Очень дружны между собой, образуют вид землячества, исключительно порядочны, трезвы, не авантюристичны, соблюдают дистанцию в отношениях с нелитовцами, особенно с русскими, никаких проявлений антисемитизма (во всяком случае явного), все они люди безусловно мужественные, не помышляющие о драке в кустах. На фоне уголовно-полицейской публики, задающей тон в нашей зоне, литовцы производят отраднейшее впечатление. Им сулят досрочное освобождение, если они осудят свое прошлое и возопят о любви к победителю, но никто, кроме Багдонаса и Шлимаса, просьб о помиловании не писал: Багдонаса обманули, несмотря на сотрудничество с ЧК, а Шлимасу снизили срок до 15 лет, очевидно, потому, что он считается душевнобольным (за 15 лет он не произнес и сотни слов).

Кроме русских, украинцев и нескольких молдаван, цыгана и башкира, о которых я еще не собрал данных, у нас есть: латыш,

	лат.	эст.	немец	грузин	арм.	узбек	казах
возраст	32	43	55	75	35	36	32
срок	13	25	15	15	?	14	20
расстрел по суду		да	да	да			
отсидел	12	16	5	5	?	13	15
стукач	да	нет	да	да	нет	?	нет
наркоман	да	нет	нет	нет	нет	да	нет
гомик { а) активный	?	нет	нет	нет	?	да	нет
{ б) пассивный	да	да ¹⁾	нет	нет	нет	нет	нет
уголовник в прошлом	да	нет	нет	нет	да	да	да
полицай	нет	нет	да	да	нет	нет	нет
взгляды ²⁾ :							
а) националист	в)	а)	г)	в)	а)	а)	г)
б) демократ							
в) потребитель							
г) обыватель							
самоистязания :	а)	б)	нет	нет	б)	а)	нет
а) резался							
б) голодал							

эстонец, немец, грузин, армянин, узбек, казах и 4 еврея.

Евреев четверо. Хотя, если верить лагерным юдофобам, которым всюду чудятся евреи (по их убеждению и Брежнев, и Косыгин, и вся кремлевская рать — евреи), их здесь человек 20 (причем подозреваемые в принадлежности к Богом избранной или проклятой — как кому — расе возмущаются этим несказанно и, «маскируясь», рядятся в тогу патологически-агрессивного юдофобства). Итак, евреев здесь четверо. Это 3,3 %

1) Сидит за национально-освободительное движение; на почве медицински засвидетельствованного психического заболевания считает себя женщиной.

2) Это черновая примерка — взгляды я здесь характеризую очень условно, намеренно ограничиваясь доминирующим признаком: а) националист — человек, болеющий за судьбу своей нации и готовый служить ей бескорыстно: он может быть и демократом, и монархистом и кем угодно еще, но если все это на втором плане, я зачисляю его в националисты — за неимением пока возможности собрать более полные сведения; б) демократ — подразумевается ориентированность на интернационализм в рамках демократического общества в лучших западных традициях; в) потребитель — точнее агрессивная разновидность его, уголовный вариант: разгул инстинктов, отсутствие духовных интересов, цель жизни — удовлетворять низменные потребности любой ценой; г) обыватель — существо аморфное, пока безобидное, потенциальный потребитель (в вышеприведенном условном смысле).

всех з/к в зоне, тогда как в СССР евреев меньше 1% (Брежнева и Косыгина я не считаю), на других зонах (в Мордовии) процент евреев достигает 6-8. Средний возраст — тридцать пять лет; отсижено по 14 лет; в случае освобождения « по звонку » (очень вероятный случай) будет отсижено по 22 года; трое в прошлом уголовники; трое мечтают об Израиле; двое уголовники (по типу отношения к жизни) и сейчас; один, похоже, стукач; двое — наркоманы; один — активный педераст; трое прибегали неоднократно к голодовкам; один резался.

5. 9. Нам зачисляют на лицевой счет около одной пятой заработка (50% сразу вычитаются на нужды карательного аппарата, потом 14 рублей за питание, 5 за одежду и т. д.).

Интенсивность работы на прессах — предельная. Выматываюсь до дрожи всех конечностей, до отупения... Скоро, видно, взбунтуюсь...

19. 9. Время от времени через больницу просачиваются сведения о наших подельниках. Все ведут себя очень мужественно, чему я несказанно рад. Пару раз пересылали нам продукты (сахар, молоко в порошке, чай). Главное — чай. У них он свободно

продается в магазине, а у нас запрещен и идет из-под полы по 3 рубля за пачку. Так выгодно начальству: можно выкачивать деньги из зоны, по дешевке покупать информацию (ни для кого не секрет, что и опер, и ЧК расплачиваются со стукачами чаем) и выменивать за чай всякие безделушки и небезделушки, которые з/к мастерят. Большинство чайных каналов контролируются кумом (опером). В нашей зоне чай все еще считается наркотиком, хотя в других лагерях он — не наркотик с 1969 г. Все еще в ходу легенда о вреде так называемого чифира (не видел, чтобы кто-нибудь сыпал более 8-10 грамм чая на 100 грамм воды) — когда-то она была лишь плодом некомпетентности лагерных чинуш, теперь она — прикрытие «воспитательных» мероприятий.

Сильва, кажется, больна — так я понял некоторые намеки в ее письме. Беда. Казнит себя за легкоеверие, с каким воспринимала выверты следователей. Пишет: «Не дает покоя мысль, что я не смогла выдержать в известное время и вела себя недостойно (мягко говоря). Не могу себе простить, что представленные мне «доказательства» (ты и все остальные от меня отвернулись и наперегонки поставляете нужную информацию) я восприняла на веру...» Ах, КГБ всем нам дает такие горькие уроки о прави-

лах советской жизни (увы, не на дармовщинку это учение!).

Сильва еще и за день до ареста была почти равнодушна ко всему, что не имело прямого отношения к репатриационной проблеме. Суд для меня заканчивается не столько судебской скороговоркой: «Смертная казнь, смертная казнь»... и наручниками, сколько ее вскриком сквозь слезы: «Ненавижу все здесь! Ненавижу!» И теперь ее письмо — что ни слово, то гнев и сарказм, направленные в совершенно недвусмысленный адрес. Ее случай — отнюдь не исключение. Единожды попавший в чекистский лабиринт (как бы это ни было нечаянно!) если и добирается до выхода, то с таким мощным запасом ненависти, что его хватает и до Ваганькова и до Тель Авива. С того момента, как репрессивное государство вынуждено перейти к более гибким формам властвования и уже не может привычно убивать всех инакомыслов, оно сталкивается с проблемой выползающих из лабиринта. Российскому репрессивному государству неизбежно нехватает гибкости для политики интеграции разномыслов в свою систему, оно их давит, формируя из них или притаившихся врагов или живые трупы, которые могут однажды воскреснуть — пусть пока не для победы, а для поражений. Но тот не видит дальше своего носа, кто

скептически вопрошает : « Ну поднялись че-
хи... И что? Против такой-то силищи? »
Для побед, сколь бы ни было до них далеко,
нужна традиция борьбы, легенды и ореолы
мученичества — иначе национальный харак-
тер захиреет. Ануйевская Жанна говорит,
что Бог хочет даровать победу французам,
ставшим героями и свободолюбцами в битвах
— Ему не с руки разбазаривать блага просто
так, за здорово живешь, Он протягивает их
сверху, а ты тянись за ними.

24. 9. Третий день мучаюсь желудком.
Небывальщина. В жизнь ничем не болел и,
хвастаясь здоровьем, говаривал, что гикнусь,
видать, в одночасье, от натуги — на унитазе
или на женщине. И вот — приступы боли в
эпистолярной части желудка, рвота и про-
чее. Язвенные симптомы. Капитан Табаков,
фельдшер по профессии и чекист по приз-
ванию (наш начальник медчасти), сказал
буквально следующее : « Ничего у тебя не
болит ». « То есть как это так ! — вяло
возмутился я (ведь очень непросто пере-
силить себя и всерьез доказывать, что ты не
симулянт, когда боли столь непреложно
реальны, что муки твои, ты считаешь, долж-
ны быть очевидны всякому). — И рвоты... »
« И рвот никаких нет », — проницательно
взглянув на меня, сообщил Табаков и пару
раз ткнул мне рукой в живот, видимо,

полагая, что это пальпация. Когда лежу на нарах — еще так-сяк, но стоит порезче дернуться у пресса, как прошибает холодный пот, гнет пополам от боли и тошнит. Сода-матушка кое-как выручает пока. Таблетки же, выдаваемые Табаковым (что это такое, он не говорит), не помогают.

27. 9. Все то же и еще хуже. Не чаял, что придется хлебнуть еще медицинского горюшка. Диагноз могут поставить только в больнице (т. е. в 3-ей лагерной зоне), так как здесь ни лаборатории, ни рентгена, ни главного врача. Люди воют от боли месяцами, прежде чем их отправляют в больницу (там тоже не велика помощь). Табаков сказал, что если боли (он в них поверил, вроде бы) не прекратятся, то в феврале — марте он отправит меня (может быть!) в больницу. Перспективка! Хорошо, как они утихнут... Непохоже.

4. 10. Терпение мое лопнуло. Сегодня тошнило непрерывно, от боли зубами скрипел, еле конца рабочего дня дождался — Табакова ждал, словно кудесника-избавителя от всех бед (таково могущество белого халата, что, замученный болью, забываешь все, что знал о том, кого этот халат облекает). И он-таки сунул в ищущую бальзама ладонь три таблетки — на этот раз в упаковке, на

которой значилось : « Энтеросептол ». (Не зря нам запрещено иметь медицинские книги и справочники). Не захлопни он кормушку, я бы его, наверное, кипятком ошпарил : настолько-то я разбираюсь в медицине, чтобы знать, что энтеросептол прописывают при детских поносах, диспепсии и в качестве бактериостатического средства. А он дал его как болеутоляющее. С завтрашнего дня объявляю голодовку.

5. 10. Утром вручил дежурному офицеру заявление : « В течение двух недель меня изводят сильные боли в желудке и рвота. Несмотря на заявление капитана Табакова, что я абсолютно здоров, они не прекращаются. Попытку использовать энтеросептол в качестве анестетика расцениваю как издевательство. Требую оказания мне квалифицированной врачебной помощи. С сегодняшнего дня я в состоянии голодовки ».

Наконец-то я один — все ушли на работу. До четверти шестого я могу упиваться одиночеством и относительной тишиной (полностью тихо на спецу никогда не бывает, даже ночью : гомонят надзиратели, колотится о дверь какой-нибудь бедалага, вымаливая « хоть чего-нибудь от желудка — помираю »...). Радостная догадка : а ведь голодовка это возможность почитать и пописать вволю ! В моем распоряжении минимум три

дня, потом посадят в одиночку — ни книг, конечно, ни ручки ни курева. Последнее; конечно, и к лучшему: голодать и курить — жечь свечу с обоих концов. Несколько слов об истории спеца. До декабря 1962 г. 10-я зона состояла из одного барака с дюжиной маленьких камер — человек на пять каждая. Признанные ООР (особо опасными рецидивистами) содержались в 4-ом лагере, в полукилометре от 10-го. Это обычная зона, как говорят з/к, открытая — в смысле свободы передвижения в пределах лагеря. И только злостных нарушителей режима переводили на различные сроки — от 15 суток до 6 месяцев — в камеры 10-го лагеря. Однако летом 1962 г. был построен новый барак. Сооружали его з/к «иностранной» зоны, так как, с одной стороны, тогда еще была жива арестантская традиция: не строить для себя тюрем, — а с другой, нельзя ведь доверять строительство тюрьмы тому, кто точно знает, что именно ему придется в ней сидеть: возможны тайники, туннели для будущих побегов и т. п. Новый барак — приземистое кирпичное строение, длиной в сотню метров. По обе стороны коридора камеры — 30 общих и 14 одиночек. Общая камера: 18-19 м², двухъярусные деревянные нары, параша, стол, вот и вся обстановка. В 63-64 гг. я сидел в 21-ой камере, было нас 15 человек. Летом адская духота, все нагишом — в

одних трусах, — пот ручьями по жилистым спинам, то в одном конце коридора, то в другом истошный вопль : « Стража ! Воды ! » — и гулкая дробь ударов оловянной кружкой в дверь, а ночью свист, звон разбиваемых окон и скандирование : « Врача ! Врача ! » — значит, какой-нибудь сердечник « вырубился ». Зимой легче, хоть и холодно — пальцы карандаш не держат; спичка тут же гаснет от духоты : эмпирическое постижение необязательной синонимичности слов « свежий » и « прохладный ». По воскресеньям час прогулки, на которую — бегом, чтобы, отстояв очередь, нырнуть в дощатую дверь уборной. Иногда свобода это возможность справлять нужду в любое время. К утру параша переполнена, содержимое ее частично на полу... Бичи : холод, жара, духота, теснота, параша, начальство и конечно же голод. Через полгода от моих 70 кг осталось 56, частенько избивали кого-нибудь до смерти (а одного-таки и убили) за кражу пайки. Ни магазина, ни передач, ни посылок, ни бандеролей — ничего. И так вплоть до осени 1969 г., когда новый « Закон об исправительно-трудовых учреждениях » облегчил жизнь ООР (кстати только ООР — для других режимов он оказался не подарком) : 4-х рублевые закупки в магазине, ежемесячно, в год две килограммовые бандероли, личное свидание раз в год, а когда

срок перевалит за половину — 5-килограммовая посылка ежегодно тому, кто «встал на путь исправления». На спецу тогда было 450-470 человек. Преобладали бывшие уголовники. О количестве сидевших за то или иное вероисповедание ничего определенного сказать не могу; их держали отдельно, как и педерастов. В 21-й камере: 3 «чистых политика», 1 полицай и 11 уголовников. Распороть себе живот или загнать якорь в уретру, чтобы в больнице наесться вволю и запастись махоркой — обычное дело. Уехать в тюрьму — попасть в Эльдorado (ведь там раз в полгода посылка и магазин на два пятьдесят): совершали новые преступления, чтобы только попасть в тюрьму. Вот далеко не полный перечень спеца в 1963-64 гг. Надо бы несколько слов о самоубийцах (один из них 22-летний латыш Сусей за день до того, как повеситься — под Новый 1964 г. мы с ним сидели в соседних одиночках карцера, — подарил мне во время прогулки ботинки и портянки), убитых и умерших, но у меня пока нет о них более или менее полных данных, а тема не из тех, где извинительна приблизительность.

На сегодня достаточно — меня ждет пара книг, которые я давным-давно обещал вернуть владельцу: то времени нет, то от работы туп, как два большевика вместе взятых...

6. 10. Нелегко слышать, как сокамерники месят челюстями хлеб — помнится, сырой, кислый, но... такой пахучий сегодня.

Ныне в зоне 120 человек, на следующей неделе будет 110 — десяток уезжает в общий лагерь¹⁾. Это целое событие. По закону после половины срока всякий подлежит вывозу на строгую зону, если он не строптив, однако здесь по крайней мере каждые два из 3-х отсидели больше половины срока, служат начальству верой и правдой и все же... как обойтись хоть без одного нарушения в год, а этого достаточно.

К сбору сведений о наших солагерниках я привлек «...»²⁾ — на сегодня мы имеем кое-что о 9 десятках человек. К остальным 30 подобраться сложно — это инвалиды, которых не гоняют на работу, это бунтари, не вылезавшие из одиночек, это мелкие нарушители спокойствия, которые работают в спецкамерах. Опасения за бумаги не оставляют меня ни днем, ни ночью. Я чувствую, что надвигается пора все более откровенных репрессий, которым мы попытаемся противостоять, что чревато всяческими неожиданностями. Поэтому я хочу хоть как-то

1) Среди убывших в январе 1972 г. Бергер. Он отправлен на 17 лагпункт Дубраслага.

2) Имя пропущено издательством по соображениям безопасности.

обработать собранный материал и на этом временно закруглиться — бумаги спрячу понадежнее и надолго откажусь от дневника, чтобы стукачи забыли, как я выгляжу с авторучкой в руке, а то обыск за обыском, а ничего, кроме невинных выписок из книг, найти не могут — есть от чего беситься синим ребятам. (Сейчас они распустили слух, что у нас много денег — порядка 7-8 тысяч, — чтобы «крысы» не спускали с нас глаз в надежде поживиться: бдительность, подхлестываемая жаждой наживы, неистоцима — глядишь, что-нибудь поценнее денег обнаружат. Деньги у нас действительно есть — 23 р. Прием старый. Правда, в данном случае он не только оперативный, но и антисемитский. Характерно, что после нашего ареста по всему Союзу пошли слухи, что мы пытались вывезти в Израиль чемоданы с золотом. Тогда как 10-и из нас судья зачитал: «Без конфискации имущества за неимением такового»). 90 человек, разумеется, достаточно полно представляют 120, обобщения правомерны, но не без оговорок. Например, средний возраст нашего рецидивиста был бы выше, имей я возможность потолковать с непохороненными старичками из инвалидных камер. А тут только подберешься к кормушке, как надзиратель рывкает... «Дедушка, — спрашиваешь второпях, — сколько же тебе лет?» «Много, сынок», —

шамкает он в ответ. « А сроку сколько ? »
« До конца советской власти, сынок ». Вот и
весь разговор. Итак, 90 человек. Средний
возраст 45 лет, причем средний возраст
русских 45,5 лет, украинцев — 44, литовцев
— 45, евреев — 36, молдаван — 44. Из этих
90 человек 41 русский, 29 украинцев, 7 ли-
товцев, 4 еврея, 2 молдавана, 1 немец, 1
грузин, 1 бурят, 1 эстонец, 1 латыш, 1 узбек
и 1 белорусс. На сегодня в среднем каждый
сидит по 16 лет, если же все освободятся
« по звонку », (т. е. не будет ни амнистий,
ни комиссий по пересмотру дел, ни помило-
ваний — а в вероятность таковых верят
лишь те, кто сидит первые пять лет), то на
брата придется по 24 года. Причем русские
сидят по 17 лет, украинцы, литовцы и мол-
давине по 16, а евреи по 14 лет. Отсидят же
русские по 26 лет, украинцы и евреи по 22
года, литовцы по 24, а молдавине по 21 году.
Из этих 9 десятков 37 человек сотрудничают
— кто тайно, а кто и явно — с КГБ или
оперотделом, 7-ро находятся на подозрении
в сотрудничестве. « Тайно » это значит, что
стукач пытается делать хорошую мину при
плохой игре, тогда как есть и такие, ко-
торые не кривляются, не прячут клейма
доносчика и провокатора. На русских
приходится 20 стукачей и 4 подозреваемых в
доносительстве, на украинцев — 11 и 2, на
литовцев 1, среди евреев 1 на подозрении,

немец, грузин, латыш, узбек и белорусс — явные стукачи. Из 20 русских стукачей 8 полицаев и 12 уголовников, 4 подозреваемых — уголовники. Все без исключения полицаи-украинцы — доносчики, числом 11 человек, а 2-е подозреваемых — уголовники. О Багдонасе я писал раньше, один из «подозрительных» евреев — уголовник, немец и грузин — полицаи, латыш и узбек — уголовники, а белорусс — ни то, ни се: получил вышак, позже замененный 25 годами по статье 58-8, т. е. за политический террор, на самом же деле убийство было совершено им на бытовой почве. В полицаи я заночу тех, кто сотрудничал с фашистами из шкурных побуждений — а таковы они все, кроме кое-кого из РОА. В уголовниках у меня числятся те, кто из уголовной «масти» перекинулся в политическую сугубо по лагерным соображениям, видя в этом выход из той или иной тяжелой для него лично ситуации. Таким образом лишь 36 человек являются поистине политзаключенными, остальные: полицаи (21 доносчик) и уголовники (числом 33). По национальностям соотношение... Впрочем, я вижу, что удобнее дать все эти цифры в сводной таблице — так нагляднее будет.

1) Олег Шибанов исповедует иудаизм, точнее фантазмагорический винегрет из обрывков иудаизма и православия. Безвылазно пребывает в изоляторе за отказ от работы в субботние дни.

2) По сохранившейся в лагере традиции я весь круг статей, охватывающих «опасные государственные преступления», именую 58 статьей.

3) Как известно, педерастами (они же : козлы, петухи и гребни) в лагере считают только пассивных гомиков. Ативные же (глиномесы, печники и т. д.) не считаются извращенцами. Еще 7 лет назад «козлов»*) содержали в отдельных камерах, у них были меченые ложки, миски и кружки — в качестве кастовых знаков существ бесправных и открытых для любых издевательств. Сейчас в отдельной камере сидят только двое: Тильга и Любка Кулева. «Я дама солидная, — говорит Любка, поглаживая себя по бокам. — Хоть и жизнь вела воровскую...». У Кулева (имени я его не знаю, сам же он упорно величает себя Любкой) самый большой в СССР стаж непрерывного заключения — он сидит 36 лет, да еще в конце 20-ых — начале 30-ых гг. отсидел пару лет. Когда-то на Воркуте Любка была хозяйкой «козлиного барака»: За плату выдавала желающим Нюрок, Нинок и Светок. Гомосексуальные страсти нередко кровавы. Разыгрываются целые драмы ревности, измен, охлаждений. В 66 г. некто Панов выпустил себе кишки и, намотав их на руки, ходил по прогулочному дворику изолятора (это было в 11 лагерной зоне), пока его не утащили в медчасть. Причина? Ему донесли, что «жена» изменила ему, пока он томился в изоляторе, он написал «ей» записку, требуя, чтобы «она» пришла объясниться, а «та» не явилась, вот и...

4) Не всегда потребляющие наркотики, ибо достать их трудно, но всегда готовые к их потреблению.

5) Очень условно, примерно в том же ключе, что и раньше (там где о представителях национальных меньшинств).

*) Т. е. пассивные гомосексуалисты.

7. 10. Теперь новое положение о голодовке — кормят по «жизненным показаниям», а не как бывало: на 7-й день и потом через день.

23. 10. Вчера вернулся из больницы. На 8-й день голодовки — уже из одиночки — меня вызвал Кочетков и сказал, что отправит в больницу, если я сниму голодовку. С 15-го по 22-е я был в больнице. Диагноз не поставили (рентгена не было), давали по витаминине в день, стерегли, как 40 тысяч каторжников вместе взятых.

Все же умудрился переговорить с одним из наших! Решили в годовщину суда над нами («самолетчиками») объявить 3-дневную голодовку протеста, а в годовщину суда над ленинградцами, рижанами и кишиневцами — однодневные голодовки.

17. 11. Сегодня мы (я, Юра и Алик) отправили заявление об отказе от советского гражданства. Вот текст моего.

В Президиум Верховного Совета СССР от з/к Кузнецова Э.С. *Заявление.* Уже в течение многих лет я не являюсь гражданином СССР ни по совести, ни по политическим убеждениям. Отбыв в 68 г. 7-летнее заключение за так называемую антисоветскую деятельность, я пытался осуществить неотъемлемое человеческое право — право на

эмиграцию — законным путем. Препятствия оказались непреодолимыми, и я был вынужден совершить покушение на нелегальный побег за границу путем захвата самолета. Это деяние было преднамеренно ложно квалифицировано Ленинградским городским судом как измена родине, и я был трижды приговорен к смертной казни. Отмена таковой кассационным судом обернулась для меня 15-ю годами заключения в лагере особого режима.

Я считаю себя — и являюсь таковым не только по совести, национальности и мировоззрению, но и фактически — гражданином государства Израиль. Я прошу лишь формального лишения меня советского гражданства, ибо *de facto* советским гражданином я не являюсь.

Просьба моя о лишении меня гражданства находится в полном соответствии со ст. 15, 2) «Всеобщей Декларации прав человека» («Никто не может быть лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство»).

Приговоренный к 15-и годам лишения свободы, к 15-и годам мучений за деяние, являющееся лишь мелким правонарушением по законам цивилизованных государств, я не намерен уклоняться от пинков, которыми меня повседневно награждают в качестве

еврея и человека, пожелавшего покинуть пределы СССР.

Но отныне и навсегда: я не являюсь советским гражданином и прошу меня таковым не числить.

18. 11. Алик объявил голодовку. Мы к нему присоединимся 1-го декабря. Его лишили свидания ни за что. Отрядный проговорился, что и меня, и Юру ждет то же. Нащупали большое место. Будем голодать, пока не отменят это постановление. Нас травят все энергичнее. Создают предкриминальную ситуацию. Распускают всяческие слухи, натравливают на нас уголовников. Три дня тому назад один, наглотавшись каких-то таблеток, искал с отверткой в руках Алика. Хорошо, что наткнулся на меня и стал объясняться в любви («Ты хороший человек, а Мурженко я сейчас запорю»), — «Полевое зрение» рецидивистов.

Хотим попробовать найти адвоката, дабы хоть немного оградить себя от давления сверху и снизу. Беда, что адвокату потребуется допуск от КГБ — нашему его не дадут, а кому дадут, тот будет не наш.

На заявление от отказа от гражданства придет такой ответ: «Вопрос о гражданстве может быть рассмотрен только после отбытия вами срока заключения».

23. 11. За непосещение политзанятий имею 3-й выговор. Старший лейтенант Беззубов сообщил на последнем политзанятии (уровень-то каков !): « В Китае зверствуют сионисты и хунвейбины. Но китайский народ — не дурак, он им еще покажет ! »

28. 11. Через три дня присоединяемся к Алику. Надо победить, иначе нас затравят. Готовься к битвам Иозеф Кнехт !¹⁾.

Несмотря на 4 том « Курса советского уголовного права » (поистине « басни » !) скоро будут приговорены к расстрелу (это точно) Тарасов и Цветков — по ст. 77, 1. Цветков сделал Тарасову наколки на лице — и это признано актом, терроризирующим администрацию. Причина : Тарасову не оказывали медицинскую помощь, хотя у него сорок болезней.

[Сергей]

1) Фраза из романа Германа Гессе « Игра в бисер ».

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОЦЕСС « САМОЛЕТЧИКОВ »

15-24 декабря 1970 г. в Ленинградском городском суде (председательствующий — председатель Ленгорсуда *Н.А. Ермаков*; обвинители — прокурор Ленинграда *С.Е. Соловьев*, *Н. Катукова*; общественный обвинитель — летчик ГВФ *) *Метаногов*) проходил судебный процесс по обвинению *М. Ю. Дымшица*, *Э.С. Кузнецова*, *С. И. Залмансон*, *И. М. Менделевича*, *И.И. Залмансона*, *Ю.П. Федорова*, *А.Г. Мурженко*, *А.А. Альтмана*, *Л.Г. Хноха*, *Б.С. Пенсона* и *М.А. Бодни* в совершении преступлений, предусмотренных след. ст. УК РСФСР :

64-а « Измена родине, т. е. деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности и военной мощи СССР... ».

15 « Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление ».

*) Гражданский воздушный флот СССР.

70 « Антисоветская агитация и пропаганда, (т. е.) агитация или пропаганда, проводимая в целях подрыва или ослабления Советской власти либо совершения отдельных особо опасных государственных преступлений... ».

93¹ « Хищение государственного или общественного имущества в особо крупных размерах ».

Судебные заседания проходили в зале на 300 мест. Из них лишь 20-30 мест были заняты родственниками подсудимых, которых пропускали по списку. Остальные проходили по специальным пропускам. У здания суда было много милиционеров, которые разгоняли желающих попасть на процесс. Публика в зале суда была настроена враждебно к подсудимым. Во время перерыва высказывалось мнение, что « повесить их всех надо ». В газете « Ленинградская правда », вышедшей на следующий день после начала процесса, подсудимые уже названы преступниками.

Согласно обвинительному заключению, подсудимые хотели, использовав двенадцатиместный пассажирский самолет АН-2, вылетающий по маршруту Ленинград-Приозерск, улететь на нем в Швецию. Подсудимые М.Ю. Дымшиц, С.И. Залмансон, И.И. Залмансон, Б.С. Пенсон и М.А. Бодня признали себя виновными. Подсудимые И.М. Менделевич, Э.С. Кузнецов, А.А. Альтман, А.Г. Мурженко и Л.Г. Хнох признали себя виновными лишь частично. Подсудимый Ю. П. Федоров на вопрос : « Признаете ли себя

виновным? » ответил : « Не по тем статьям ».

Из 11 подсудимых девять (кроме Мурженко и Федорова) показали, что единственной целью намеченного ими захвата самолета было — попасть в Израиль. С.И. Залмансон и ее муж Э.С. Кузнецов, И.М. Менделевич, А.А. Альтман, Б.С. Пенсон и М.А. Бодня неоднократно пытались выехать в Израиль официальным путем, но либо им отказывал ОВИР, либо на работе не выдавали характеристики, без которой ОВИР не принимает заявление.

Первым допрашивался подсудимый *Дымшиц*.

Марк Дымшиц родился в 1927 году. Вплоть до ареста был членом КПСС, после ареста был исключен. Окончил летную школу, служил в военной авиации. В 1960 г. демобилизовался. Не мог найти работу по специальности в Ленинграде, где жила его семья, и уехал в Бухару, два года служил там в гражданской авиации. По возвращении в Ленинград поступил в сельскохозяйственный институт. Окончил его и работал инженером. *Марк Дымшиц* заявил, что он не мог в СССР дать еврейское воспитание своим детям.

Он рассказал о трех мотивах, приведших его к мысли уехать в Израиль :

- 1) Антисемитизм в СССР.
- 2) Внешняя политика СССР на Ближнем Востоке.

3) Внутренняя политика СССР по национальному вопросу в отношении евреев.

В 1948 г. СССР ратовал за образование государства Израиль и агрессорами, когда началась война, были арабы. Продолжается одна и та же война и агрессор не может меняться. Вопрос только в том, кто первый нарушил перемирие.

Сам додумался, что надо ему уезжать из СССР. Никогда в ОВИР не подавал. Хотел сделать воздушный шар, потом самому строить самолет. Потом угнать. Когда пришел к этой мысли, понял, что одному не справиться и стал искать людей. Одновременно стал изучать иврит — сам не смог. Все эти планы созрели у него в 1967-68 гг. В 1969 г. осенью познакомился с Бутманом и тот ввел его в ульпан. Бутман знал о его планах и они вместе стали искать людей. Жена Дымшица вначале не соглашалась, а потом он «создав в семье обстановку деспотизма и давления» (по словам обвинителя) уговорил ее и детей. Дочери были введены в план побега. Было три последовательных варианта :

1) Захват самолета ТУ 124 (48-52 пассажира) с маршрута Ленинград-Мурманск. Этот вариант назывался операция «Свадьба». От него отказались в двадцатых числах апреля, а назначен он был на 1-2 мая. Тогда же ленинградский центр решил запросить Израиль, как они на это смотрят, а Дымшицу было запрещено до ответа что-либо придумывать. В связи с этим вариан-

том Дымшиц получив от Бутмана 50 рублей летал в Москву, но летел бесплатно в кабине летчиков (на самолете летчиком был его бывший сослуживец по Бухаре). Тогда он знакомился с устройством этого типа самолетов. 35 руб. вернул Бутману, а 15 р. пошли на пропивон. Бутман не знал, что он летал бесплатно.

На вопрос обвинителя, что будете делать в Израиле, Дымшиц ответил, что служить в гражданской авиации, или работать шофером, или трактористом.

2) 2-й вариант придумал Дымшиц в конце мая и для проверки его вызвал в Ленинград Кузнецова. Это был план захвата самолета ночью на поле аэродрома. Предполагался самолет типа АН-2 (двенадцатиместный), Дымшиц и Кузнецов (с ними была жена Кузнецова — Залмансон Сильва) в последних числах мая ездили на аэродром «Смольное» и поняли, что это невозможно (собаки, прожектора и прочее). Кузнецов уехал в Ригу, считая, что все на этом кончено. Но 5 июня ему в Ригу позвонил Дымшиц и попросил приехать, так как есть еще вариант. Это было 5 июня. Кузнецов приехал, вызвал в Ленинград Федорова и 8 июня они вместе (трое) летали в Приозерск и приняли на 15 июня третий вариант.

3) Третий вариант — захват самолета АН-2 на аэродроме «Приозерск». Дело в том, что все «дело» должно было начаться в Приозерске. До Приозерска лететь должны были просто пассажирами 12 человек (Дым-

щиц, Кузнецов, Менделевич, Залмансон И., Залмансон В., Дымщиц-жена, Дымщиц-дочь Лиза, Дымщиц-дочь Юлия, Федоров, Мурженко, Альтман, Бодня). После остановки самолета в Приозерске должны были связать первого и второго летчиков — без единой царапины, положить их в спальные мешки под тент, взять на борт четырех ждавших в Приозерске — Хноха А., Хнох М., Залмансон С., Пенсон Б. и лететь в сторону Швеции.

Таким образом попытка угона еще даже не началась, когда 12 человек арестовали в 8 ч. 30 мин. на аэродроме «Смольное», а четырех — около Приозерска в 3 часа ночи.

Единственный в группе пистолет, найденный у Федорова, принадлежал Дымщицу. Сделал его сам еще в Бухаре.

Допрос подсудимой Залмансон С.

Сильва Залмансон, 1943 г. рожд. Жила в Риге и работала инженером. В январе 1970 г. вышла замуж за Э.С. Кузнецова. Подтвердила, что перепечатывала первый номер литературного журнала «Итон» («Газета»).

Она заявила, что она сионистка. На вопрос прокурора, знает ли она, что марксистско-ленинской идеологии враждебен сионизм, ответила, что нет, не знает, но считает, что в сионизме есть стороны не враждебные нашей идеологии, главное же — воссоединение евреев в едином государстве. С 1968 г. подавала в ОВИР, получила отказ, в 1970 г. снова получила вызов и на себя и на своего

мужа Кузнецова, но ей не дали характеристику, необходимую для подачи в ОБИР. Примерно с 1968 г. по поручению Шпильберта печатала сионистские материалы. Привозила в Ленинград Дрезнеру (?) чемодан с литературой, с которой не ознакомлена. Когда Бутман и Дымшиц приехали в Ригу с планом побега, она познакомила их с Кузнецовым, а последнего с рядом лиц, намеченных как участники побега, так как Кузнецов человек в Риге новый и никого не знает. Она очень дружила с младшим братом Израилем Залмансоном, но, считая, что Кузнецов более для него авторитетен, поручила ему переговоры с братом, который вскоре и дал согласие. В мае приехал из в/ч второй брат Вульф, и после кратких переговоров с сестрой также дал согласие бежать. На вопрос обвинителя, осознала ли она, как враждебна нам идеология сионизма, Сильва Залмансон ответила, что пока этого не считает и остается сионисткой. (Вообще сама говорила мало и невнятно, главным образом отвечала на вопросы прокурора, подсудимых и адвокатов). Залмансон С. на вопрос, что будет делать в Израиле, сказала, что работала бы кем угодно.

Допрос Менделевича Иосифа (1947 г. рождения). Он рассказал о себе, что вырос в семье, дорожащей еврейскими традициями, всегда глубоко интересовался историей и судьбой еврейского народа и давно для него и для его семьи был решен вопрос о том, что

своей духовной и исторической родиной они считают Израиль. Он и его семья имели неоднократные вызовы из Израиля и разрешение на въезд от МИД Израиля. Трижды они подавали документы в ОВИР и получали отказы. Когда ему сказали о готовящемся полете у его семьи были поданы документы в ОВИР и он сказал, что в случае отказа — примет участие. Отказ пришел через несколько дней. Был студентом III курса Политехнического института, ушел сам, так как несмотря на тягу к образованию считал, что не совсем нравственно учиться на советские деньги. Считал, что это не слишком большая жертва, так как при подаче заявления все равно выгонят. Издавал в Риге журнал «Итон». Писал статьи. Вел вопросник-картотеку. Автор письма, которое они хотели оставить на случай провала. Письмо это обвинитель считает клеветническим антисоветским документом. На вопрос считает ли он себя «лицом еврейской национальности или сионистом, ответил: *Я еврей*. Кроме того, говорил, что никаких претензий к СССР не имеет и что государство это его вообще не интересуется. Единственно, чего он хочет, это попасть на свою Родину. Прокурор на это сказал, что вам русский народ выделил Биробиджан и поезжайте туда, но Менделевич сказал, что позвольте мне самому решать какое государство, а не область является моей Родиной. Кроме собственного выступления, много отвечал на вопросы обвинителя, очень резкие и грубые, и вопросы

адвокатов. Держался очень достойно, не выгораживая себя и никого не обвиняя.

Еще сказал, что купил олово для кастета, так как перед этим был разговор (с кем не помнил), что олово не достать. Шел мимо магазина, увидел и купил. Занес домой к Залмансонам и положил на стол. Кто сделал не знает, но видел, что кастет был завернут в тряпку и резину, а потом обтянут пластырем для смягчения удара, и что это не записано в деле в заключении эксперта.

На вопрос о цели побега, ответил: У меня — попасть в Израиль. У других — не знаю. На вопрос, что делал бы в Израиле, сказал, что материальная сторона его не интересует, но он твердо знает, что может жить только там. По ходу допроса выяснилось, что на один месяц во время следствия был отправлен в Ригу на псих. экспертизу.

Судебное заседание от 16 декабря 9 часов утра началось с допроса подсудимого Кузнецова Э.

Эдуард Самойлович Кузнецов, 1939 г. рождения. В 1960 г. блестяще сдал экзамены на философский факультет МГУ. На втором курсе был арестован и в 1961 г. осужден по ст. 70 и 72 на 7 лет. В Мордовском лагере подвергнут суду лагерной администрацией и половину срока провел в камере Владимирской тюрьмы вместе с Игорем Огурцовым. После освобождения в 1968 г. жил под гласным надзором в Струнине Владимирской

обл. После женитьбы на С. Залмансон переехал в Ригу. Работал в больнице.

При установлении личности подсудимого на вопрос о национальности Кузнецов ответил: еврей, на что обвинитель заявил, что в паспорте записано — русский. Кузнецов ответил: Вы меня спрашиваете не о записи в паспорте, а о моей национальности.

Постарался обрисовать ситуацию, приведшую его на эту скамью. Наша группа имела целью пересечь советско-финскую границу, нацеливаясь на Швецию. Рассказывает о плане пересечения границы. Вопрос прокурора: рассказывайте факты. «Дело не в фактах, а в совокупности обстоятельств, приведших к нему. Соображения мои об этом носят общечеловеческий характер. Хочу остановиться на пунктах предъявленного мне обвинения. В вину вменили многое, в том числе распространение антисоветской литературы. По поводу мемуаров Литвинова могу сказать, что сомнительное авторство никем не доказано, но не считаю этот документ антисоветским и речь в нем идет об окружении Сталина и о нем самом — документ не более обличительный, чем материалы XX Съезда КПСС.

Вопрос: Где и при каких обстоятельствах и для чего Вы сделали фотокопии книги Шуба «Политические деятели России»? Сделал, получив пленку от друга, а копию сделал сам, чтобы прочесть. Не считаю ее особенно интересной.

Вопрос: А антисоветской?

Ответ : Да.

Вопрос : Кому в Ленинграде отдали ?

Ответ : Абраму Шифрину, который в настоящее время в Израиле.

Вопрос : Что можете сказать по поводу обращения (завещания) ?

Ответ : Обращение могло быть пущено в ход лишь в случае нашей гибели. Вот что касается ст. 64- 15 : о плане побега узнал от Коренблита, а потом в те же дни в Риге от Бутмана, который до этого говорил с моей женой Залмансон С. о том же. Я не рассматривал Бутмана как представителя организации, а как частное лицо. Производил он несерьезное впечатление. Однако я дал согласие на поездку в Ленинград для обсуждения плана. Бутман, Коренблит и я обсудили I вариант (Ленинград-Мурманск) — захват в воздухе. Кроме того, знали уже тогда об этом Сильва, Альтман и Изя. I Вариант отпал — считали невозможным захват в воздухе. От идеи не отказались. Наметили II вариант — захват на поле аэродрома ночью. Этот вариант тоже отпал. В это время запросили Израиль и Израиль просил этого не делать. Тогда без Бутмана и Коренблита решили попытаться с III вариантом. Дымшиц позвонил 5 июня и я приехал в Ленинград. Летали в Приозерск втроем : Дымшиц, я и Федоров. Назначено дело на 15 июня. Федорова я уговорил в 20 числах апреля и я предложил позвать Мурженко.

Что же побудило меня на все это — считаю себя евреем. Мой отец умер в 1941 году.

Мать в 16 лет уговорила меня записаться русским. Мне тогда было просто все равно. В лагере для меня впервые встал этот вопрос. После выхода просил записать меня евреем, но мне отказали.

Вопрос: Считаете ли себя гражданином СССР?

Ответ: Формально.

Вопрос: А на следствии сказали, что не считаете, и не хотите жить по законам этой страны. Это верно?

Ответ: По существу — да.

Вопрос: Но Вы жили и работали в этой стране.

Ответ: Да. Жил, работал и сидел!

После лагеря жил очень трудно под гласным надзором в Струнино. Прописать к больной матери отказались. Приезжал в Москву на один день и был вынужден ночевать у друзей. В январе 1970 г. я женился на Сильве Залмансон и переехал в Ригу. Дальше я решил воспользоваться правом нашей Советской Конституции на выезд за пределы СССР, но не смог подать документы в ОВИР, так как мне и моей жене не дали характеристики. Так что *право* оказалось только на бумаге. Не один я оказался таким бедолагой, жертвой отношения к евреям, желающим выехать в Израиль. В отличие от многих изменников не собирался сообщать за границей никаких сведений о советском военном потенциале. И потому не мог нанести (и не собирался) какой бы то ни было ущерб независимости СССР. Поэтому эта

часть обвинения мне не понятна. Видимо, речь идет не об ущербе, а о престиже государства, который был бы затронут в случае проведения удачной акции. За побег судят только в странах коммунистического блока.

Судья : Ну давайте, Кузнецов, о других странах не говорить. Сами знаем. Говорите о деле.

Кузнецов : Что касается статьи 93, 1-15 — это определение тех действий, которые мы собирались совершить. Если преступление не совершено, то о каком хищении может быть речь. Старый еврейский закон : нет преступления — нет наказания.

Хочу остановиться на статье, гласящей, что я вел антисоветскую агитацию и пропаганду; просто находились любопытствующие, с которыми я делился своими взглядами.

Вопрос прокурора : В армии служили ?

Ответ : Да.

Вопрос : Вам известна Ваша характеристика ?

Ответ : Да.

Прокурор зачитывает : Политические занятия не посещал. Как Вы думаете, это типично для советского гражданина ?

Ответ : Я не стремился быть типовым гражданином и не любил казарму. Политические занятия избегал, так как в армии их проводили безграмотно.

Вопрос : А чем вы собирались заниматься в Израиле.

Ответ : Это мне было безразлично.

Вопрос : Что можете сказать о посылках из-за рубежа, которые получали ?

Ответ : Видимо это от моих родственников из Израиля, с которыми у меня спорадические (?) отношения. Был удивлен и не знал, что с ними делать.

Вопрос общественного обвинителя : Если бы погода была нелетная в Швеции, что бы вы делали ?

Ответ : Я доверял в этом Дымшицу.

Вопрос адвоката : Вы совершили это преступление по политическим мотивам ?

Ответ : Нет, мною руководили соображения духовного и морального характера.

Адвокат : Собирались нанести ущерб СССР ?

Ответ : Ни в коей мере.

Вопрос адвоката : Не волновали ли Вас, как это воспримут враги Советского Союза ?

Ответ : Я не виновен, что существуют враги.

Адвокат : Собирались устроить в Швеции конференцию ?

Кузнецов : О данном факте упоминал Бутман, но я считал, что это игрушки и конкретно об этом разговора не было.

Прокурор : Кому Вы говорили о намерении привлечь Федорова ?

Кузнецов : Дымшицу и Бутману.

Прокурор : Какую характеристику Вы дали Федорову ?

Кузнецов : В общих чертах, что давно знаю.

Прокурор : Кого Вы лично привели к этой акции — т. е. к государственной измене ?

Кузнецов : Федорова, Менделевича, Изю, Сильву и практически всех остальных.

Прокурор : Объясните смысл слова « Сионизм ».

Кузнецов : Я не согласен с общим определением марксистско-ленинской философии « Сионизм — агентура империализма ».

Прокурор : Не считаете, что антисемитизм порожден сионизмом ?

Кузнецов : Сионизм существует с XIX века, а антисемитизм — вечно. Разве Вам это неизвестно.

Прокурор : Где, какую юридическую литературу вы читали и у кого получали инструктаж ?

Кузнецов : Советскую. Дайте процитировать. (Достает записку).

Прокурор : Нечего цитировать.

Кузнецов : Я собирался привести цитату из « Нюрнбергского процесса », Москва 1970, под редакцией Руденко.

Прокурор : Вот Вы обижены на Советскую власть, но ведь Вас осудили за преступление, а Вы не исправились. Ваша характеристика из мест заключения говорит, что Вы отлынивали от работы и Вас перевели в тюрьму, почему ?

Кузнецов : Я люблю заниматься самообразованием, есть люди, которые это любят, а в тюрьме хорошая библиотека и время для занятий.

Вопрос : Вы делали кастет ?

Кузнецов : Да.

Вопрос : Залмансон Сильва говорит, что делала она.

Кузнецов : Она слишком много на себя берет.

Вопрос : Кто Вам говорил, что Федоров и Мурженко должны быть привлечены для прикрытия национального характера этой акции ?

Кузнецов : *Бутман*. Но я Федорова и Мурженко привлек до этого разговора, который состоялся 1-2 мая, тогда, как я говорил с Федоровым в 20 числа апреля.

Вопрос : Вы говорили Федорову о том, что в группе одни евреи ?

Кузнецов : Да.

Вопрос : Как к этому отнесся Федоров ?

Кузнецов : Так, как мог отнестись Федоров (в смысле, что Федоров не антисемит — пояснение автора).

Допрос Залмансона Израиля (21 год).

Израиль Залмансон, брат Сильвы Залмансон, 1949 г. рожд., самый молодой из подсудимых. Студент Рижского политехнического института, в июне 1970 г. сдал все экзамены за IV курс.

Он говорит о том, что хотел попасть в Израиль потому, что он еврей. Его семья уже получала вызов в 1965 г., но тогда отец решил не уезжать, и лишь потом появилось предположение улететь, тем более, что согласие дали сестра Залмансон С., ее муж Кузнецов и позже его брат Вульф. Он не

считает, что наносил вред СССР, он не видел другого пути. Считал, что материального ущерба СССР не понесет, так как самолет вернут и вообще об этом не думал. Подписи под обращением (завещанием) поставил не только за себя, но и за других, потому что не придавал этому значения, и вообще не прочел внимательно. Отвечая на вопросы, старался выгородить свою сестру Сильву в печатании литературы и Кузнецова в изготовлении дубинок — сказал, что их делал он сам.

Во второй день суда, хотя много говорили об обращении, текста его зале и суду не зачитали.

Допрос Мурженко

Алексей Мурженко, 1942 г. рожд. Жил и работал в Лозовой, учился заочно. Начал с причин, побудивших принять участие: неустроенность, не попал в институт, нескладно в семье. Обвинение основывается на моей первой судимости, но я не согласен, так как никогда после освобождения не занимался распространением антисоветской литературы, не высказывал антисоветских убеждений, не читал самиздат. Не согласен с обвинением: 1) Действовал, исходя из антисоветских убеждений — причины были чисто личные, 2) что занимался подготовкой дела — не было этого, впервые в Ленинграде в день свершения — 14/VI, 3) что собирался присвоить самолет — был уверен, что самолет вернут.

Все узнал через Федорова и без подробностей. Результаты моих неудачных попыток устроить жизнь после лагеря явились решающими в моем желании покинуть СССР. Никаких инструктажей не получал, когда утром Кузнецов дал мне дубинку, я спросил: Зачем? И тот ответил: «На всякий случай». На вопрос, что я должен делать, Кузнецов сказал «сориентироваться на месте».

Судья сказал, что «так не бывает», а Мурженко ответил: «но так было».

Судебное заседание от 17 декабря 1970 г.

Допрос подсудимого Хнох Аръе, 25 лет, 1944 г. рождения. Рабочий. А. Хнох воспитывался в семье, где говорили по-еврейски, соблюдали все традиции и праздники. Считает, что будущее евреев как нации реально только в Израиле. Подавал заявление в ОВИР, но получил отказ. Один из работников ОВИРа сказал ему, что он слишком молод и его не выпустят. Считает, что отказ евреям в выезде в Израиль является нарушением Всеобщей декларации прав человека. Был соавтором писем Косыгину, секретарям компартии и У Тану, но уверен, что в этих письмах не было ничего клеветнического и антисоветского. Был задержан вместе с тремя другими — Хнох Мери, Пенсон, Залмансон Сильва в 3 часа утра 15/VI в лесу около Приозерска.

Считаю себя евреем, всегда хотел и хочу

жить на своей Родине. СССР считаю родиной только формально. О полете узнал от Менделевича и сразу согласился. Раньше заявления в ОБИР не подавал по личным мотивам (только 23 мая женился на Мери Менделевич — ныне Хнох).

Виновным по статье 64 не признаю, так как родина моя Израиль. Уверен, что другие, так же как и я не собирались присваивать самолет и потому не признаю себя виновным в ст. 93. Касаясь фактов, хочу рассказать о той группе, которая ждала в Приозерске. Мы выехали из Ленинграда в Приозерск на поезде с Финляндского вокзала днем 14/VI. По дороге чувствовали за собой слежку и поэтому дважды выходили из поезда и садились в следующий. Думали вернуться, но сомневались и продолжали путь. По дороге из рюкзаков вынули все компрометирующее — карту, которую дал Дымшиц и две дубинки, которые обнаружил у себя в рюкзаке Пенсон. В Приозерск прибыли значительно позднее предполагаемого, т. к. высаживались дважды на промежуточных станциях. Вышли из города, попали в лес, заблудились, не знали, где аэродром, где вокзал. Развели костер и легли спать. Один (вначале Пенсон, потом Хнох) дежурил у костра и в 3 часа ночи были задержаны. Эта приозерская группа получилась потому, что было слишком много людей и в «Смольном» не могли все сесть (самолет двенадцатиместный). Решили, что в Приозерске безопаснее и там должны быть женщины (непонятно до сих

пор — как же дети и жена Дымшица, вероятно, что Хнох не знал о них). Хнох сам опоздал на распределение ролей. А Пенсон сам попросился в эту группу. Очевидно бо-
лся.

Далее Хнох отвечал на вопросы по ст. 70, 72, виновным в которых тоже себя не признавал. О статьях «Нехама вернулась» и о родном языке (название неточно) сказал, что антисоветскими их не считает. В одном из изданий вариантов статьи о языке в одной фразе есть преувеличение (что в 30-е годы был уничтожен в СССР весь цвет еврейской нации), так «весь» это преувеличение — в остальном ни клеветы, ни антисоветского ничего нет. Прокурор задавал много вопросов, на которые Хнох отвечал так: этого у меня в обвинении нет и на вопрос отвечать не буду. В вопросах этих были какие-то фамилии — какие не запомнились. Через пять-шесть таких ответов судья резко оборвал его, сказав «почему это он решил так отвечать суду». Хнох ответил, что имеет на это право, но не помнит согласно какой статьи. Адвокат Сарри в своем вопросе спросил, не имел ли он в виду статью 254 УПК, при этом зачитал статью. (Вероятно, это пошло на пользу всем подсудимым). На какие-то вопросы прокурора Хнох отвечал, что они расходились несколько в формулировках с протоколами допросов, и тогда Хнох заявил протест о ведении следствия, что хотя ему не угрожали и вели следствие корректно, он часами не мог добиться, чтобы следова-

тель записывал его ответы точно. Добиться того, чтобы писать протоколы самому, он не смог.

Допрос подсудимого Пенсона Бориса (23 года).

Борис Пенсон, 1947 г. рожд. Имеет близких родственников в Израиле. Художник, был ранее судим. (Присутствовал при групповом изнасиловании).

Изложу мотивы. Мой отец 72 лет, пенсионер, больной, его близкие родственники в Израиле и мечтает перед смертью соединиться с близкими. Моя мать родилась в маленьком еврейском местечке, очень плохо говорит по-русски и ассимилироваться, акклиматизироваться в СССР не может. Мы несколько раз подавали документы в ОВИР, но получали отказы. Я полагаю, что из-за меня, так как я молод и здоров, а одних стариков выпустили бы. Поэтому, узнав о готовящемся, я сразу не колеблясь дал согласие — если я буду на родине, то стариков легко выпустят туда. Узнал в конце мая или начале июня, но все время боялся — очевидно, черта характера, поэтому попросился в Приозерскую группу, думая, что если передумаю, то оттуда смогу уйти, никого не подводя. Сам просил кого-то, может быть Израиля Залмансона, подписать за меня обращение, т. к. куда-то торопился. На вопрос прокурора : куда Вы дели две дубинки, ответил, что выбросил в окно, когда мы заметили, что за нами следят, но должен

сказать суду, что Кузнецов мне их не давал. Я видимо их сам подложил в свой рюкзак по ошибке приняв за колбасу, которая так же как дубинки была завернута в газету. Все время, пока в Приозерске были в лесу, боялся и хотел уйти, но не мог бросить костер, т. к. был дежурным.

В статье 64 признал себя частично виновным. Про статью 93 сказал : это же вообще ерунда какая-то, кто может поверить. что мы собирались украсть самолет.

Допрос подсудимого Бодня Михаила (32 года). В 1944 г. наша семья потерялась, куда пропала мать с моим братом мы не знали. Я остался с отцом, который вскоре женился. Моя мачеха русская женщина, я очень благодарен ей за заботу и доброту, которые она ко мне проявляла, но я всегда хотел найти мать и брата. В 50-х годах мы узнали, что они после многих мытарств и мучений оказались в Израиле. С тех пор я неоднократно подавал заявления на выезд в Израиль и неоднократно получал отказы, последний совсем недавно. Поэтому узнав о готовящемся, я сразу же дал согласие. (На вопросы прокурора и адвоката отвечал, что он металлист, рабочий, инвалид труда (попал осколок в глаз и один глаз ослеп, а второй слепнет), пенсионер, получает пенсию 35 руб. имеет много грамот и поощрений за годы работы на заводе, был председателем местного и спортивного коллектива). Я не соби-

рался изменять Родине, но я хотел и хочу соединиться со своей матерью.

Допрос свидетелей 17/ХП с 14 часов.

1) Бутман Гиля, 38 лет, инженер, женат, 1 ребенок, член Ленинградского центра. С Дымщицем познакомил его некто Ваня (кто этот Ваня суд не уточнял), живущий недалеко от него, осенью 1969 года. Тогда же вскоре Дымщиц стал говорить ему о плане организованного побега. Бутман ввел Дымщица в Ульпан, где преподавал язык Коренблит Л.Л. Подтвердил все, что известно из предыдущих допросов.

Первый вариант («свадьба») был им принят, но от него отказались и Ленинградский центр. Дымщиц все же хотел продолжать поиски и решил запросить Израиль. Запрос был передан через иностранного туриста и оттуда пришел решительный запрет (неясно, действительно был запрос или нет). Дымщиц обещал Бутману, что больше не будет искать, но все же не успокоился. Предложил Кузнецову второй вариант, а 5-6 июня — третий. Бутман в целях подтверждения того, что Дымщиц откажется от своих планов, просил его поставить подпись под письмом — телеграммой — соболезнование матерям детей, погибших при обстреле школьного автобуса. Дымщиц отказался, но просил достать документы для ОВИРа — будет пробовать уехать официальным путем. Бутман обещал найти фиктивных родственников.

2) Коренблит Л.Л., около 50 лет, привезен из тюрьмы, где находился с 15/VI, ст. научный сотрудник, физик, член Ленинградского центра, главный редактор «Итон» и преподаватель языка в одном из ульпанов. Очень похудел и выглядит больным. Однако, отвечал на вопросы в своей манере говорить (интеллигент, образованный человек), добился того, чтобы прокурор не очень на него орал. Знал о 1 варианте, был против и варианта и прессконференции, если полет состоится и удастся — считал, что такая конференция не поможет тем евреям СССР, которые хотят выехать, потому что привлечет внимание мировой общественности не к ним, а только к уголовной стороне вопроса.

В последний раз видел Дымшица 24 или 25 мая, имел с ним разговор на повышенных тонах, убеждал отказаться от планов побега, но не убедил.

На следующий день Бутман сообщил ему, что Дымшиц отказался от своих планов, Коренблит успокоился. Еще раз видел Дымшица, но с ним не разговаривал — на занятиях у себя в ульпане. Дымшиц его ученик. Отвечая на вопросы прокурора, говорил о работе по редактированию и совещаниях в связи с этим, где от Риги присутствовал Менделевич. Также сказал, что Менделевич автор двух статей в «Итон» № 1 и передовой об ассимиляции в «Итон» № 2. Считал, что попытки захвата самолета не будет, раз Дымшиц дал на это согласие.

Коренблит, Мафцер или Шпильберг, на во-

прос почему именно Менделевич был Редактором ИТОНа от рижан, ответил, потому что обладал журналистскими способностями и знает два еврейские языка. Обвинитель переспросил несколько раз и создатель впечатление, что для него непонятно «два еврейские языка».

Шпильберг Арон, 36 (?) лет, инженер, житель Риги, в тюрьме с 4 августа 1970 г. Заявил, что никакой антисоветской, а также клеветнической и сионистской деятельностью не занимался. Все время хотел договориться с судом, особенно с прокурором Соловьевым о том, что они и что он понимает под словом «сионизм», но ему не давали сказать. Сказал, что ездил на какую-то станцию взморья, где оставил чемодан с литературой. Сильву Залмансон, которой инкриминируется этот эпизод, взял с собой просто потому, что приятно ехать с милой дамой. Содержимое чемодана ни сионистским, ни клеветническим, ни антисоветским не считает. Ему не дали перечислить названия книг, которые были в чемодане, но он успел назвать три: 1) Сборник стихов еврейских поэтов Маршак, Бялик и третий — (фамилию не вспомнил), 2) Отдельно стихи Бялика, 3) Исход. Четвертого названия не успел произнести (Приехавшие из Риги родственники подсудимых говорили, что это был учебник еврейского языка).

Сказал, что он поручил Сильве отвезти чемодан в Ленинград и отдать одному из

общих знакомых. Фамилий не называл. Но Сильва сказала, что отдала Дрезлеру (?). Старался доказать, что Сильва никогда не получала от него 20 экз. брошюры « о родном языке » и следовательно никогда их не имела и не распространяла. Сильва подтвердила, несмотря на слова Шпильберга, свои показания на предварительном следствии, что получила от Шпильберга и распространила названную брошюру.

Держался Шпильберг хорошо, даже красиво, очень мужественно и вообще от него исходит ощущение большой стойкости, ума и силы. Был ему еще задан вопрос, откуда узнал о закрытом чемодане с литературой. Сказал, что от друга, который уже давно находится в Израиле (назвал фамилию ?).

Мафцер Борис, свидетель, 26 (?) лет, инженер, в тюрьме с августа 1970 г., житель г. Риги. Рассказал, что у него на иврите печатался « Итон ». Принимали участие в этом Альтман, Менделевич, Израиль Залмансон (?).

Свидетель Коренблит Миша. Врач-стоматолог, арестован в августе (сентябре) 1970 г. С Дымщицом познакомил его Бутман. Втроем очень дружили и приняли первый план « свадьба ». Он и был женихом. Но в двадцатых числах апреля от этой операции отказались и о других планах Дымщица не знал. Показания его очень сложны. Его все время перебивали и очень резко, грубо пе-

ребивал обвинитель. Чувствовалось, что он хочет рассказать о Дымшице и его жене многое, но ему не давали. Прорвалась единственная фраза — раньше я считал Дымшица порядочным человеком, страдающим за еврейский народ, но — тут прокурор прервал. Говорил Дымшицу после отмены «свадьбы», чтобы тот не увольнялся с работы. Но однажды услышал от Дымшица, что тот уже уволился и сказал Коренблиту, что теперь все равно должен продолжать начатое дело, так как без работы, даже спросил: «Что же мне теперь делать?» На что Коренблит ответил «устраиваться на работу и немедленно». Потом от Бутмана узнал, что Дымшиц отказался от своих планов. 13/VI когда ленинградские евреи подписывали письмо У Тану, то Могилеввер, исходя видимо из того, что Дымшиц отказался от своих планов, предложил Коренблиту съездить к Дымшицу и дать подписать письмо. Всегда был в доме Дымшица своим человеком, поэтому был поражен, что его не впускали в дом, потом закрыв двери в комнаты, впустили в кухню «и я увидел... (возможно, увидел в смысле «понял»). Тут его перебили и буквально выталкиваемый успел крикнуть: «Я побежал звонить Каминскому и в центр и сказал: Надо звонить Эдику в Ригу, все всё знают...» Его увели, не задав вопросы адвокатам и подсудимым о том, есть ли у них к свидетелю вопросы.

Допрос свидетеля Залмансона Вульфа, 28 лет, инженер-механик, но последнее время служил в армии — командир подразделения. Арестован 15/VI на аэродроме «Смольное» как участник акции, но идет по делу свидетелем, т. к. будет судим отдельно военным трибуналом после слушания данного дела¹⁾. Очень хорошо держится, отвечает четко, коротко и твердо. О деле узнал от своей сестры и дал согласие. В подготовке участия не принимал. Прибыл в Ленинград 14/VI вместе со своим братом Израилем и Иосифом Менделевичем. Сказал, что ему было дано задание на аэродроме в Приозерске вместе с Бодней связать второго летчика.

Прокурор спросил: А кто должен был связать первого?

Ответ: Не знаю, мне была ясна моя задача. Видимо, все остальные.

Вопрос прокурора Катужковой: «Если все остальные, то могла ведь быть неразбериха и дело могло сорваться из-за плохой организованности?»

Ответ: Так и было! (В зале явная реакция на эти слова).

Вопрос: Вы отпросились у командира перед отъездом?

Ответ: Нет, дезертировал.

Вопрос: Что делали бы Вы в Израиле?

Ответ: Работал бы инженером-механиком.

Вопрос: Может быть, служили бы в армии?

¹⁾ Приговорен к 10 годам ИТЛ строгого режима.

Ответ : Нет, недостаточно подготовлен.

Вопрос : Что же, по вашему, Советская армия дает плохую подготовку ?

Ответа не последовало.

Вопрос : Вы не согласны с политикой Советского Союза ?

Ответ : Да.

Вопрос : В какой области ?

Ответ : В национальной политике.

Вопрос подсудимого Менделевича : в национальной политике по отношению к еврейскому вопросу ?

Ответ : Нет, вообще в национальной политике.

Судебное заседание 18/XII — четвертый день суда.

1. Допрос свидетелей — все находятся на свободе.

1) Федорова Пелагея Сергеевна — мать Федорова Юрия, живет в Москве. Рассказала, что после первого заключения у Юры было болезненное состояние, не выходил из дома, нарушился сон, временами без причины уезжал (ездил на юг к морю), жаловался на то, что его преследуют на улицах. Частично ей этот страх кажется болезненным, но частично обоснован. Она сама проверяла и видела, что на улицах за ним следят. Врач невро-псих. больницы, где Юра лежал больше месяца и был выписан с диагнозом психостения (после лагеря это видимо норма), говорил, что Юре нужен только покой. В связи с этим ходила на Лубянку и просила

оставить в покое ее сына. По характеру добр и склонен к книжным занятиям. Привела такой пример — однажды Юра видел, как она перед тем как чистить карпа, била его молотком по голове. После этого Юра сказал, что приготовление карпа живодерство и собирался не есть рыбу, мясо, хотя вегетарианцем себя не считал.

Свидетель Федорова вызвана адвокатом Тороповой, которая просила суд назначить повторную псих. экспертизу. Суд принял ее прошение и ее вопросы экспертам :

1) Нуждается ли в стационарной экспертизе ?

2) Болен ли (психически) и чем ?

3) Вменяем ?

2) Дымшиц Алевтина Ивановна живет в Ленинграде, работает лаборантом. Много и долго говорила о том, как ее муж уговаривал уехать, но не соглашалась, потому что она русская и здесь ее родина. Из-за этого разошлись. Но всегда была с мужем очень и очень счастлива (однако, он жил в Бухаре, а она в Ленинграде). Муж очень любил свое летное дело, но она его боялась (дела), и хотела, чтобы он жил на земле, а не в воздухе. 19 апреля муж пришел в день ее рождения (неясно, сам или она его позвала) и она согласилась ехать с ним лишь бы восстановить семью. Сама сказала дочерям об отъезде. Читала книгу Шуба и мемуары Литвинова, которые ей дал Кузнецов, что Ленин говорил по национальному вопросу. На вопрос Кузнецова : Дал книгу или было

по-другому, сказала, что вообще-то не давал, а вынул из портфеля и положил на стол, когда шел за покупками и она сама посмотрела, что это за книги.

Из ее допроса выяснилось, что у нее с мужем развод был оформлен и у нее уже фамилия не Дымшиц, а какая непонятно.

3) Допрос Дымшиц Елизаветы, 19 лет, работает швеей. Ничего нового не добавила, сказала, что о полете знала.

4) Дымшиц Юлия, 15 лет, ученица 9 класса. Сказала, что об отлете знала. И летала по просьбе отца в Приозерск, чтобы занять рейс и посмотреть обстановку.

5) Козлова Оля, ученица 9 класса. С Юлей очень дружила, летала с ней в Приозерск. (Не спросили, знала ли от Юли — зачем? и не ясно, зачем ее вызвали, т. к. никаких вопросов обвинитель не задавал).

6) Человек средних лет, преподаватель техникума, учился с Дымшицом в средней школе, иногда встречались. Весной Дымшиц принес ему два или три чемодана вещей и просил оставить на сохранение, т. к. сказал, что уезжает с семьей на юг и боится оставлять дома — живут на первом этаже. Дымшиц взял у него в долг 500 руб. в облигациях 3 % займа, сказав, что деньги нужны, чтобы в Тбилиси попытаться купить визу в Израиль. (Опять все неясно).

7) Женщина средних лет (фамилия не запомнилась). Знакомая Бодни. У нее он ночевал с 13 на 14/VI сказав, что приехал в Ленинград в командировку. 13/VI они гуляли

по городу, вместе обедали. Об отлете он ей не говорил. (Зачем ее вызывали?).

8) Командир звена летчик, который был на самолете АН-2 и должен был лететь. Рассказал о технических данных самолета. Прокурор попросил говорить о деле, на что получил ответ — а о деле? Пожалуйста, я подрулил к посадке, повели пассажиров и у самолета их арестовали. Вот и все дело. (В зале реакция, смех). Прокурор сердится. Вопрос: Понравилось бы Вам, если бы засунули кляп в рот. Ответ: А Вам бы понравилось?

Вопрос подсудимого Кузнецова: Я буду задавать больше конкретные вопросы. Скажите, когда второй пилот выходит встречать и высаживать пассажиров, дверь в кабину остается открытой?

Ответ: Когда как.

Вопрос: А по инструкции?

Ответ: Должна быть закрытой. (В зале реакция).

Вообще допрос этого летчика произвел впечатление, что у него никакого раздражения не вызывают подсудимые, а прокурор вызывает, возможно, никчемностью своих вопросов. Еще на вопрос прокурора ответил, что считает вполне возможным, чтобы его связали без всяких кровопролитий, учитывая момент внезапности. (Раньше в допросах подсудимых говорилось, что если дверь будет закрытой операция отменяется).

9) Летчик, с которым Дымшиц летал в Москву. Ничего нового по делу не дал. Но

дал характеристику Дымшицу по совместной службе в Бухаре как очень хорошему летчику. Говорил, что когда в каком-то ленинградском авиаотряде потребовался летчик, то сам ездил туда с Дымшицом и не понимает почему его не взяли, ведь есть другие евреи, которые работают в авиации.

10) Девушка, познакомилась с Дымшицом за две недели до 15/VI. Дымшиц говорил ей о полете и даже звал. Отказалась, говорит, что Дымшиц ей был симпатичен своей страстью к авиации.

11) Борис, стоматолог, лет 26-27. На вопрос прокурора: вы состоите членом антисоветской организации, ответил, что состоит членом просветительной организации, задачей которой является изучение языка, истории, культуры еврейского народа. С Дымшицом познакомился в конце 1969 г., знал о готовящемся, но не собирался лететь. По просьбе Дымшица купил стартовый пистолет.

Вопрос прокурора: огнестрельное оружие?

Ответ: Стартовый пистолет — это спортивный инвентарь и может быть оружием не больше чем палка.

12) Жена Мурженко — Люба. Имеет дочь 1 года. О полете не знала. Из Москвы получила прощальное письмо уже после 15/VI.

В этот же день были предъявлены вещественные доказательства — несколько кусков белой бельевой веревки и два кляпа — носки, в которые засунута вата. Пистолеты и другое оружие не представлялись.

Обвинитель в своей речи уделил много внимания « проискам международного сионизма » и сказал, что в СССР нет и не может быть еврейского вопроса. « Некоторые говорят, что этот процесс против евреев, но это неправда. Этот процесс не об евреях. Это уголовный процесс, в котором большинство преступников евреи. Но Кузнецова я евреем не считаю. Считаю, что Кузнецов — русский. Считаю, что это групповое дело и суд должен решать не по эпизодам, вменяемым каждому в отдельности, а в целом ». Прокурор Соловьев указал, что обвиняемый Бодня показал искреннее раскаяние. По его мнению, Бодня, в отличие от остальных подсудимых, не имеет антисоветских убеждений. В заключение обвинитель сказал: « Считаю мотивы действий всех подсудимых, кроме Бодни, антисоветскими. Прошу признать всех подсудимых кроме Бодни, виновными по ст. 64 (через 15), 93¹ (через 15), 70 и 72. Что касается Бодни, то, учитывая его чистосердечное раскаяние, искренность и откровенность, а также личные мотивы преступления, прошу признать его виновным по ст. 83 (незаконный выезд за границу) и 93¹. Прошу суд применить к Бодне ст. 43 УК РСФСР » (назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом). Прокурор Соловьев потребовал Кузнецова, Федорова и Мурженко признать особо опасными рецидивистами; Кузнецова и Дымшица приговорить к высшей мере наказания — смертной казни, Федорову дать 15 лет особого

режима, Мурженко — 14 лет особого режима, Менделевичу — 15 лет строгого режима, Хноху — 13 лет строгого режима, И. Залмансону, Альтману и Пенсону по 12 лет строгого режима, С. Залмансон — 10 лет строгого режима и Бодне — 5 лет усиленного режима.

Все защитники заявили, что ст. 93¹ совершенно не годится для квалификации действий их подзащитных, т. к. подсудимые, очевидно, не собирались похищать самолет. Защитник С. Залмансон адвокат Дроздов просил снять из обвинения ст. 93¹, а все другие защитники просили перевалифицировать обвинение со ст. 93¹ на ст. 91 (разбой с целью завладения государственным или общественным имуществом).

Защитники Менделевича, И. Залмансона, Альтмана, Федорова, Мурженко, Хноха и Бодни (адвокаты Ария, Ильина, Леско, Торопова, Сарри, Свистунов) указывали, что у их подзащитных не было прямого умысла подрывать мощь Советского Союза или нанести ущерб его внешней безопасности, а без подобного прямого умысла не может быть ст. 64. Защитник Менделевича адвокат Ария сказал: «С 1968 г. у моего подзащитного было четкое стремление уехать в Израиль, который он ошибочно считает своей родиной... И если б Менделевич убежал в Израиль молиться своему богу, и, может быть, даже хулить СССР, это не могло бы принести ущерба нашей внешней безопасности».

Защитники С. Залмансон, Менделевича, И. Залмансона, Альтмана и Хноха считали, что действия их подзащитных, за которые они обвиняются по ст. 70, оценены неверно. Защитник Хноха адвокат Сарри сказал: « Абсурдно думать, что советский государственный строй может быть ослаблен распространением таких документов, как « Нехама приехала » и « Ваш родной язык », а тем более их хранением. Мотивы, по которым Альтман участвовал в издании журнала « Итон » (журнал об истории и жизни Израиля, вышло всего два номера), его защитник Лесько не считает антисоветскими. По всем этим причинам защитники С. Залмансон, Менделевича, И. Залмансона, Альтмана и Хноха просили переqualифицировать обвинение со ст. 70 на ст. 190¹. Защитник Мурженко Ильина обратила внимание суда на то, что никаких доказательств антисоветских убеждений у ее подзащитного, кроме прошлой судимости, обвинение не указало. То же самое говорила и защитник Федорова адвокат Торопова.

Защитники просили учесть смягчающие обстоятельства.

Защитник Кузнецова адвокат Лурьи обратил внимание суда на слова, сказанные его подзащитным Бодне: надо постараться обойтись без насилия, летчики должны быть без царапинки. « Поэтому, заявил Лурьи, — из обвинения надо исключить умысел на угрозу жизни летчиков ». По поводу исключительной меры наказания, которую потре-

бовал обвинитель, Лурьи сказал: « Нужно ли применять эту меру, если преступление не совершено, благодаря органам госбезопасности самолет на месте, летчики здоровы? Я думаю, что такую исключительную меру применять нельзя ».

Подсудимые произнесли свои последние слова :

М.Ю. Дымшиц :

Очевидно, каждый преступник считает свое наказание слишком суровым. И все же я хочу высказать свое мнение относительно предполагаемого наказания. Я считаю чрезмерно жестоким то, что запросил прокурор. Прокурор часто употреблял слово « если ». Гражданин прокурор, я думаю, исчерпал весь запас самых страшных предположений. Если б мы сели в Финляндии и нас бы выдали, то тогда?... Если бы были пассажиры? Я не либерал и хорошо понимаю, что такое борьба. Подобная строгость наказания вам нужна для того, чтобы и другим неповадно было. Я сам предложил первый вариант, но мы его сами и отставили. Гражданин общественный обвинитель говорил от имени летчиков. Жаль, что рядом с ним не сидели те из отдела кадров, к которым я безуспешно обращался за работой. Они-то могли бы меня остановить — до осени 1969 г., а потом меня могли остановить только органы КГБ. Мы, группа подсудимых, люди разные по характеру. Многие из нас познакомились в последние дни. Отрадно, что мы не потеряли

человеческий облик и здесь. И не стали кусать друг друга, как пауки в банке. Я благодарю органы за гуманность, проявленную к моей жене и дочке. Прошу суд отнестись ко мне справедливо и гуманно.

Сильва Залмансон :

Я не могу придти в себя... Я ошеломлена теми сроками, которые требует для нас прокурор. Сейчас прокурор предложил снять головы за несодеянное. Если суд согласится, то погибнут такие замечательные люди, как Дымшиц и Кузнецов. Я считаю, что советский закон не должен рассматривать как измену чье-либо намерение жить в другой стране, и убеждена, что по закону нужно было бы привлечь к суду тех, кто незаконно попирает наше право жить, где нам хочется. Пусть суд хотя бы учтет тот факт, что если бы нам разрешили уехать, не было бы этого «преступного сговора», доставившего нам столько боли... и еще больше боли нашим родным. Израиль — страна, с которой мы, евреи, связаны духовно и исторически. Надеюсь, что правительство СССР в скором времени положительно решит этот вопрос. Нас никогда не покинет мечта соединиться со своей древней родиной. Некоторые из нас не верили в успешность этой затеи, или верили очень мало. Еще на Финляндском вокзале мы заметили слезку. Но мы уже не могли вернуться. Вернуться к прошлому, к ожиданию, к жизни на чемоданах. Наша мечта о жизни в Израиле была несравнима

со страхом той боли, которую нам могли причинить. Своим отъездом мы никому не причинили ущерба. Я хотела жить там семьей, работать. Политикой я бы не стала заниматься. Весь мой интерес к политике исчерпывается просто желанием уехать. Я и сейчас ни минуты не сомневаюсь, что когда-нибудь я все-таки буду жить в Израиле. Эта мечта, освященная двумя тысячами лет надежды, никогда меня не покинет. *В следующем году в Иерусалиме!* И сейчас я повторяю :

Если я забуду тебя, Иерусалим,
Пусть отсохнет моя правая рука !

(Повторяет эти слова по-еврейски. Прокурор прерывает ее). Я кончила.

Иосиф Менделевич :

Я хотел бы еще сказать вам, что свои действия, направленные на захват самолета и нарушение государственной границы, я признаю преступными. Но моей виной является и то, что я позволил себе быть неразборчивым в средствах для достижения своей мечты. Эти полгода научили меня тому, что эмоции надо подчинять разуму. Я понимаю, что я должен понести наказание, и призываю суд к великодушию по отношению к моим товарищам.

Эдуард Кузнецов :

Государственный обвинитель исходит из предположения, что за границей я стал бы

заниматься деятельностью, враждебной по отношению к Советскому Союзу. При этом он исходит из моих якобы антисоветских убеждений, которые я, однако, никому не высказывал. У меня не было умысла нанести ущерб Советскому Союзу. Я всего лишь хотел жить в Израиле. Возможная просьба о политическом убежище не расценивалась мною как враждебный политический акт. Об этом неверно говорится в обвинительном заключении. Я не высказывал желания выступить когда-нибудь на пресс-конференции и ни с кем не обсуждал этого вопроса. Не вдаваясь в прочие причины отсутствия у меня таких намерений, скажу только, что присущий мне иронический склад ума надежно застраховал меня от всяких политических выступлений. Я искренне сожалею, что дал согласие на участие в этом деле, и считаю себя лишь частично виновным по ст. 64-а (через 15) и по ст. 72 УК РСФСР. Прошу суд о снисхождении к моей жене Сильвии Залмансон. Прошу и о справедливости к себе. Живешь ведь один раз.

Израиль Залмансон :

Единственное, что толкнуло меня на это — желание жить и работать в государстве Израиль — моей духовной родине. Желание это сделалось главной целью моей жизни. Под следствием я понял ошибочность моего поступка. Я хочу заверить вас, что впредь никакие обстоятельства не заставят меня переступить закон.

Алексей Мурженко :

Прежде чем говорить о себе, я прошу суд о снисхождении к Кузнецову и Дымшицу.

Я полностью согласен с моим адвокатом. Прокурор утверждает, что я антисоветчик и поэтому принял участие в этой акции. Но это неверно. Первая судимость была причиной полной неустроенности моей жизни. А то, что я принял участие в этом предприятии, — следствие моей жизненной неопытности. Моя жизнь — это 8 лет Суворовского училища; 6 лет лагерей для политических заключенных и только два — свободы. Проживая в глуши, я не имел возможности применить свои знания и должен был их похоронить. Вы решаете мою судьбу, мою жизнь. 14 лет заключения, которые потребовал обвинитель, означают, что меня считают неисправимым и решили поставить на мне крест. Я никогда не преследовал преступных целей. Я прошу суд определить мне такой срок наказания, который оставил бы мне надежду на счастье, на будущее мое и моей семьи.

Юрий Федоров :

Размышляя о том, что мы совершили, я убедился, что у нас была единственная цель — покинуть СССР. Ни у кого не было цели вредить СССР. Считаю, что нами были приняты все меры, чтобы обезопасить жизнь летчиков. Я признаю себя виновным лишь в попытке нарушить государственную границу и готов за это нести ответственность, но по

совести виновным себя не считаю — ничего не совершил. Обвинитель не поскупился на сроки, но знает ли он, что значит хотя бы три года в лагере... Речь общественного обвинителя направлена против захвата самолета и с ней можно согласиться. Что касается револьвера, то он был взят на случай финляндского варианта. С антисоветскими убеждениями я расстался еще в лагере. Идя же на захват самолета, мы не подозревали, что кто-то из нас более виноват, а кто-то менее. Каждый делал, что мог. Вдруг оказалось, что во всей акции больше всех виноваты Дымшиц и Кузнецов. Дымшиц по крайней мере собирался пилотировать самолет, но не могу понять, почему Кузнецов вдруг оказался виновнее всех нас остальных. В отношении возможных последствий я могу сказать, что раз уж акция не состоялась, то не стоит и гадать о том, как бы она прошла. Прошу суд проявить милосердие к Кузнецову и Дымшицу. Хочу подчеркнуть: я сам настоял на своем участии, а Мурженко привлечен мною даже вопреки желанию Кузнецова.

Анатолий Альтман:

Граждане судьи, я обращаюсь к вам с просьбой сохранить жизнь Кузнецову и Дымшицу и назначить минимальное наказание единственной среди нас женщине — Сильвии Залмансон. Я выражаю глубокое сожаление, мне искренне жаль, что я и мои товарищи оказались на этой скамье. Наде-

юсь, что суд найдет возможным наказать нас не очень сурово. Я не имею возможности отвести от себя наказание за участие в преступлении, но одно обстоятельство вызывает у меня недоумение. Дело в том, что в 1969 г. я подавал заявление на выезд в Израиль, т. е. хотел изменить родину. В том случае мое желание вызвало ко мне презрение и только, а в настоящем случае — суд. Мое недоумение не праздное, потому что речь идет об изоляции, о лишении свободы и о боли наших близких. Я родился в советское время и всю жизнь провел в советской стране. Классовую сущность сионизма я не успел изучить, но я хорошо знаю, что народы и страны в разные времена переживают различные политические состояния и не становятся от этого хуже или лучше. Сегодня, в день, когда решается моя судьба, мне прекрасно и тяжело. Я выражаю надежду, что Израиль посетит мир. Я шлю тебе сегодня поздравления по этому поводу, моя земля. Шолом-Алейхем! Мир тебе, земля Израиля!

Лейб Хнох :

Граждане судьи, я прошу проявить милосердие к двум нашим товарищам и снисхождение к единственной среди нас женщине. Я могу только еще раз сказать, что мои действия не были направлены против государственной безопасности СССР. Моя единственная цель — жить в государстве Израиль, который я давно считаю родной страной, страной, где в свое время возник мой

народ как нация, где было и развивается сейчас еврейское государство, еврейская культура, где говорят на моем родном языке, где живут мои родные и близкие. Никаких антисоветских взглядов у меня нет. Два свидетеля неправильно истолковали мои взгляды. Очевидно, они живут в тех районах СССР, где евреи не обращаются в ОВИР. И тот и другой говорили суду, что я не касался сущности социалистического строя. Моя единственная цель — жить в Израиле, истинной родине евреев.

Борис Пенсон :

На протяжении всего следствия я давал показания о своих намерениях, и напрасно гражданин прокурор утверждает, что я их якобы изменил, это не так. Просто первые дни я совсем не давал показаний, а дав их, уже не изменил. Я все время сомневался в успехе, и в том, стоит ли такое делать вообще. Но велико было желание сделать счастливой свою семью, и я не понимал степени риска, я все же пошел на это. Однако, оказавшись в лесу, я решил уйти, но не успел, нас арестовали. Я прошу суд учесть, что я раскаиваюсь в своих действиях — надо было добиваться отъезда законным путем, хотя организация, которая этим занимается, не оставляет никакой надежды на выезд в Израиль. Я готов нести ответственность за то, что не совершил. Прошу учесть суд, что у меня престарелые родители. Прошу у

суда снисхождения для Сильвии Залмансон и милосердия к Кузнецову и Дымшицу.

Мендель Бодня :

Прошу суд о милосердии и снисхождении. Я только хотел увидеться со своей матерью. Прошу суд учесть, что я обещал впредь никогда не преступать закон.

**
*

Судебная коллегия Ленинградского городского суда приговорила :

Дымшица М. Ю. — к высшей мере наказания — смертной казни — с конфискацией имущества.

Кузнецова Э. С. — к высшей мере наказания — смертной казни — без конфискации имущества за отсутствием такового. Признать особо опасным рецидивистом.

Менделевича И. М. — к 15 годам строгого режима без конфискации имущества за отсутствием такового.

Федорова Ю. П. — к 15 годам особого режима без конфискации имущества за отсутствием такового. Признать особо опасным рецидивистом.

Мурженко А. Г. — к 14 годам особого режима без конфискации имущества за от-

сутствием такового. Признать особо опасным рецидивистом.

Хноха Л. Г. — к 13 годам строгого режима без конфискации имущества за отсутствием такового.

Альтмана А. А. — к 12 годам строгого режима без конфискации имущества за отсутствием такового.

Залмансон С. И. — к 10 годам строгого режима без конфискации имущества за отсутствием такового.

Пенсона Б. С. — к 10 годам строгого режима с конфискацией имущества. (У Пенсона в самом начале предварительного следствия были изъяты в качестве личного имущества все его картины, этюды и рисунки).

Залмансона И. И. — к 8 годам строгого режима без конфискации имущества за отсутствием такового.

Бодню М. А. — к 4 годам усиленного режима без конфискации имущества за отсутствием такового.

После оглашения приговора раздались аплодисменты «общественности» и крики родственников: «Фашисты! Как вы смеете аплодировать смертным приговорам!», «Мо-

лодцы », « Держитесь ! », « Мы с вами ! », « Мы ждем вас ! », « Мы будем в Израиле ! », после чего аплодисменты прекратились.

**
*

Общественные выступления после процесса
27 декабря председателю Президиума Верховного совета СССР Н.В. Подгорному направили письмо В.Н. Чалидзе, А.С. Вольпин, А.Н. Твердохлебов, Б.И. Цукерман и Л.Г. Ригерман. Они просили не допустить убийства Кузнецова и Дымшица. Отпустить всех, кто хочет уехать. Признать право евреев на репатриацию.

28. декабря акад. А. Д. Сахаров послал письмо президенту США Р. Никсону и председателю Президиума Верховного совета СССР Н.В. Подгорному — в защиту Анджелы Дэвис и осужденных в Ленинграде Дымшица и Кузнецова.

30 декабря 1970 г. к генералиссимусу Франко и председателю Президиума Верховного совета СССР Подгорному обратилась с заявлением группа граждан СССР, «глубоко обеспокоенных и потрясенных той волной жестокости, которая нашла свое проявление в смертных приговорах, вынесенных в Бургосе и в Ленинграде». Они призывают сохранить жизнь приговоренных.

**
*

Неожиданно на 30 декабря, в нарушение

ст. 328 УПК, было назначено рассмотрение кассационных жалоб подсудимых и их адвокатов. Поскольку копии приговора были вручены подсудимым 26 декабря, в соответствии со ст. 328 УПК и ст. 103 УПК, кассационное разбирательство должно было начаться не ранее 5 января.

В небольшом зале собрались человек 20 «общественности», среди них — немногие родственники подсудимых, успевшие приехать в Москву. Заседание 30 декабря продолжалось до 14 часов 30 мин. Затем оно неожиданно было прервано на полтора часа. После перерыва заседание продолжалось еще 20 минут. Потом был сделан перерыв до следующего дня. (Напомним, что именно в этот день, 30 декабря, генералиссимус Франко отменил смертную казнь приговоренным в Бургосе).

На заседаниях 30 декабря было доложено дело и выступили адвокаты.

31 декабря заседание продолжалось всего полчаса. Прокурор *Похлебин* (Прокуратура СССР) высказался за смягчение приговора. Затем кассационная коллегия ушла на часовое совещание. Около 11 часов утра судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РСФСР в составе председателя Верховного суда РСФСР *Л.Н. Смирнова* и членов Верховного суда *М.А. Гаврилина* и *В.М. Тимофеева* огласила свое определение:

Учитывая, что преступная деятельность *Дымшица* и *Кузнецова* была пресечена в

стадии покушения, а смертная казнь является исключительной мерой наказания, коллегия Верховного суда сочла возможным не применять к Дымщицу и Кузнецову смертной казни.

Коллегия Верховного суда определила :

- 1) Дымщица М.Ю. — к 15 годам строгого режима с конфискацией имущества.
- 2) Кузнецова Э.С. — к 15 годам особого режима без конфискации имущества за отсутствием такового. Признать особо опасным рецидивистом.

Кроме того, коллегия определила :

- 3) Менделевича И.М. — к 12 годам строгого режима без конфискации имущества за отсутствием такового.
- 4) Хноха Л.Г. — к 10 годам строгого режима без конфискации имущества за отсутствием такового.
- 5) Альтмана А.А. — к 10 годам строгого режима без конфискации имущества за отсутствием такового.

Для остальных подсудимых был оставлен в силе приговор суда первой инстанции. Однако в телеграмме из Верховного суда РСФСР в Ленинградский городской суд для И.И. Залмансона указывался срок 7 лет строгого режима (а не 8).

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Предисловие	7
« 1970 »	13
« 1971 »	163
Ленинградский процесс « самолетчиков »	325

« СВИДЕТЕЛЬСТВА »

Дневниками Э. Кузнецова открывается новая серия, посвященная злободневным вопросам. Написанные по свежему следу *Свидетельства* неизбежно будут носить на себе отпечаток субъективности и страстности. Многие в них будут спорным и не обязательно соответствовать установкам издательства. Объединяющая их черта будет — искренность и подлинность. Они будут исходить от людей, запечатлевших свое свидетельство жертвой. « Я верю только тем свидетелям, которым рубят головы », говорил Паскаль. Из таких свидетельств, в первую очередь, и будет состоять эта серия.

1. Э. Кузнецов. Дневники.

2. « ВСХОН ». Люди, идея, программа (готовится к печати).